Военные Приключения

ЛЕСНАЯ КРЕПОСТЬ

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Валерий Дмитриевич Поволяев

Лесная крепость

Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215540
Лесная крепость /Поволяев В.Д.: Вече; Москва; 2013
ISBN 978-5-4444-7388-7,978-5-4444-1389-0

Аннотация

В романе «Лесная крепость» читатель вновь встретится с уже полюбившимися ему героями книги Валерия Поволяева «Лесные солдаты» – с бойцами Красной Армии, ставшими волей судьбы партизанами, и патриотами-подпольщиками. Их ждут тяжёлые бои, гибель друзей и близких, но они верят в то, что враг будет разбит и Победа непременно придёт. В книгу также включены повести, в которых признанный мастер отечественной остросюжетной литературы рассказывает о людях, с которыми ему довелось встретиться в Афганистане, – на войне, которая долго ещё будет отзываться болью в сердцах многих и многих россиян.

Содержание

Лесная крепость 4
Конец ознакомительного фрагмента. 106

Валерий Поволяев
Лесная крепость

Лесная крепость

Если во сне Чердынцев видел дорогу, уходящую к задымленному горизонту, к неровной полосе леса, откуда в любую минуту могли выскочить немецкие мотоциклисты, темные однообразные кусты, обрамляющие не только большаки, но и тропки, в которых не живут птицы, такие кусты растут едва ли не вдоль всех путей-дорог России, и их много, насквозь пропитанных пылью, грязью, бедой, то сон его невольно делался схожим с болезнью.

При виде дорог, кустов, недоброго неба, далёкого леса, облаков, похожих на летящие самолёты, Чердынцеву прямо во сне начинало больно сжимать грудь, он громко кашлял, словно бы пытался вывернуть самого себя наизнанку, до остатка, мучительный кашель этот заставлял его обязательно проснуться.

Проснувшись, Чердынцев некоторое время лежал в темноте неподвижно, вглядывался в потолок землянки, начинал вспоминать недавнее прошлое, людей, в том числе и напарника своего, маленького солдата с великой русской фамилией, стычки с фрицами, различные эпизоды из тяжёлой окру-

женческой жизни, и ему делалось легче.

Хорошо, что Ломоносов проделал вместе с ним этот путь, не отступился, не нырнул в кусты – лежит маленький солдат в соседней землянке, видит свои сны. В них тоже, наверное, возникают разные картинки из бесконечного пути, который они проделали сюда, в край лесов и болот, от самой границы, хлебнули всего по самое горло – хлебнули, но не захлебнулись, – и путь, который они проделали вместе сюда, им придется когда-нибудь проделать и обратно… Другого не дано.

В груди, там, где сердце, под ключицами, в легких, в животе возникала тяжесть, она давила, давила, здорово давила… Лекарств от неё не было никаких, да и Чердынцев уже знал, что лекарства в таких случаях не помогают, да и не это главное.

Главное другое – прошлое, о котором он всё время думает, недавнее прошлое, оставшееся позади, наука, которую они получили, отступая к своим, как рванулись от границы двадцать второго июня, так и не смогли догнать своих до самой зимы – немцы шли быстрее их.

В результате приходится зимовать в этих лесах. Ну, а что касается прошлого… то прошлое должно перекрыть будущее, то самое будущее, в котором они сломают глотку врагу. Должны сломать.

Конечно, ни Чердынцев, ни маленький солдат, ни Мерзляков, ни Геттуев, ни те люди, которые находятся рядом с ними в партизанском отряде, этого сделать не смогут, не одо-

леют просто, зато смогут сделать все, собравшись вместе. Только вместе. Иначе разрушить чудовищную машину, прикатившую на их землю, не удастся никак: слишком уж она могуча.

Вот и снятся тяжёлые, усталые сны, будто напоминание о былом, о том, как они отступали.

Но ничего, ничего-о… Придёт время, и они будут наступать, в это лейтенант Чердынцев верил твёрдо.

Разные моменты из фронтовой жизни вспоминались, виделись во сне Чердынцеву: и то, как он светлым июньским вечером прибыл в штаб пограничного отряда, чтобы проходить службу после училища – прибыл за несколько часов до войны, совсем не зная, не предполагая, что скоро все и начнётся, и как они с маленьким крепкоплечим бойцом Ломоносовым добирались до разбитой, целиком погибшей заставы, на которую лейтенант Чердынцев получил назначение замбоем – заместителем начальника по боевой части, и то, как они потом уходили на восток, как плутали по лесам, голодали, как убегали от танков, преследовавших их, и как попали в плен к своим, таким же окруженцам, что и они сами, и обрадовались: наконец-то влились в боеспособную, хотя и отступающую часть. Но радовались рано – старший лейтенант, командовавший окруженцами, сдал своих подчиненных немцам. Всех, скопом. За несколько буханок хлеба. Помогала старшему лейтенанту в той операции его походная подружка с диковинным именем Асия. Асия Шичко. Ухо-

дить пришлось с боем.

Зима застала отступающих недалеко от районного центра со старинным названием Росстань. Там в лесу, на неприступном берегу реки они выкопали землянки и организовали партизанский лагерь[1].

Лейтенант Чердынцев стал командиром отряда, бывший интендант Мерзляков – комиссаром.

Как-то Мерзляков, человек уже немолодой, много повидавший, неожиданно спросил у лейтенанта, есть ли у того мечта.

Чердынцев подумал, подумал и подтверждающе наклонил голову.

– Есть. Хотя сейчас совсем не время об этом говорить.

– Какая же?

Но лейтенант не был склонен продолжать разговор.

– Как-нибудь потом расскажу, – пообещал он.

– Потом, так потом, – не стал настаивать Мерзляков.

А мечтал Чердынцев о простом, о том, что может быть в голове у всякого молодого человека: о любви, о встрече со своей невестой. Невеста у него была, осталась в Москве. Наденька Шилова, студентка медицинского института. Эх, Наденька, Наденька… Где ты сейчас находишься? Знать бы! И удастся ли когда-нибудь встретиться с тобой? Случится это или нет, известно было только на небесах. Впрочем, одно было хорошо в их «осадном» положении – отряду Чердын-

[1] См.: В. Поволяев. Лесные солдаты. М.: Вече.

цева удалось наладить связь со своими, с Большой землей, со штабом партизанского движения, и сейчас они ожидали прибытия самолета из-за линии фронта…

Радист и женщина-врач были сброшены с парашютами на нескошенное пшеничное поле в восьми километрах от отряда Чердынцева. Чердынцев вместе с разведчиками отправился сам встречать дорогих гостей из партизанского штаба. Хорошо будет, если эти гости задержатся в отряде как можно дольше – надо будет попросить полковника Игнатьева, чтобы так оно и было, – ведь без связи, без врача отряд будет неполноценной боевой единицей.

День выдался прозрачный, ветреный, к вечеру в пепельном морозном сумраке Ломоносов вместе с разведчиками зажёг два костра. Как и было оговорено.

Вскоре послышалось неуверенное, слабое громыхание, и над лесом возник появившийся с восточной, затенённой до черноты стороны небольшой двухмоторный самолёт.

Самолёт пропахнул на низкой высоте над полем, затем, сыто пророкотав двигателями, развернулся и снова прошёл над полем. В воздухе заколыхалось несколько парашютов с подвешенными к ним прочными прорезиненными мешками.

Поскольку ветер уже стих, то разброс у приземлившихся мешков был небольшой, собрали дорогой груз быстро, самолёт тем временем сделал третий заход, метров на триста выше первых двух, из приоткрытого чёрного нутра вывалились две фигуры. Парашютисты. Приземлились они мастерски –

между двумя кострами: вначале мужчина, одетый в чёрный овечий полушубок, потом женщина – тонкая, как стебелёк, гибкая, с бледным точёным лицом.

Чердынцев как увидел её лицо, так невольно зажмурился – очень уж женщина была похожа на Наденьку Шилову. Но нет, Наденька никак не могла оказаться здесь – это раз, и два – приземлившаяся женщина, несмотря на сходство с Наденькой, всё-таки была старше её.

Первым к приземлившимся кинулся маленький солдат – он всегда в таких случаях оказывался самым проворным, отряхнул снег с полушубка врачихи, потом – с полушубка мужчины.

– Живы? Всё в порядке? Не поломались?

Мужчина, не слушая Ломоносова, напряжённо вытянул голову – на шее даже жилы вздулись, – глянул в одну сторону, потом в другую, пробежался глазами по резиновым мешкам.

– Там рация! Проверьте, как она. Не пострадала?

В мешках тех сверхпрочных много чего, кроме рации, было напихано плотно, вплоть до новогодних подарочных наборов фабрики «Рот фронт» и полусладкого «Советского шампанского».

Радист, косолапя, утопая в снегу по колено, ринулся к мешку с рацией, ощупал чёрный железный бок передатчика, вздохнул облегчённо.

– Тьфу! От сердца отлегло! – Ощупал рацию ещё раз, вы-

прямился и, по-военному вскинув руку к шапке, назвался: – Радист Петров. А кто будет командир отряда?

– Я командир. – Чердынцев присел на корточки перед рацией, также ощупал её руками – слишком дорогой ценностью было это для партизан, очень уж нуждался в ней отряд, улыбнулся довольно и поднялся с корточек. – Лейтенант Чердынцев.

Врачиха, услышав его фамилию, побледнела ещё больше, лицо её сделалось неверящим и скорбным одновременно, глаза округлились.

Она сбросила с себя парашютные лямки, которые не решалась скинуть с плеч до последней минуты, вытянулась и произнесла едва слышно:

– Женя…

Чердынцев то ли не разобрал, то ли не услышал своего имени, вновь в лихом ловком движении приложил руку к шапке:

– Лейтенант Чердынцев!

– Женя! – вторично произнесла женщина в армейском полушубке, и Чердынцев виновато оторвал руку от виска – он словно бы не хотел видеть то, что видел, вернее, кого видел, помотал головой отрицательно:

– Нет! Не может быть…

– Не нет, а да, Женя, – сказала женщина в армейском полушубке.

Ломоносов той порой подтащил к ней мешок с медика-

ментами.

– Это ваш?

– Мой, – коротко ответила женщина.

– Лекарства, – с почтением произнёс маленький солдат, огладил мешок ладонью, но врачиха не смотрела на дорогой груз, как не смотрела и на Ломоносова, она смотрела на Чердынцева, узнавала и не узнавала его. Лейтенант, ощутив, что внутри у него вспыхнул жаркий огонь, вздохнул хрипло, затяжно и шагнул к врачихе:

– Надя!

Это была Наденька Шилова…

Вот такие иногда случаются встречи, они вообще с каждым человеком случаются. Хоть раз в жизни, но случаются обязательно. Чердынцев обхватил Наденьку за плечи, прижал к себе, потом зарылся лицом в воротник её полушубка, ощутил тонкий нежный дух, идущий от густого, коротко остриженного меха, от Наденькиной шеи, от её волос, покачнулся неожиданно – слишком непрочно стоял он в этот момент на земле, слишком неожиданной была для него эта встреча.

– Надя… – вновь молвил он и умолк – больше ничего не сумел сказать, у него словно бы чем-то закупорило горло, зажало его, в висках возникло тепло – так всегда бывало в детстве, когда ему хотелось заплакать.

Рядом растерянно топтались, месили снег при свете двух угасающих костров радист Петров и маленький солдат, они

понимали и одновременно не понимали, что происходит… Чердынцев очнулся, зашевелился, поцеловал Наденьку в щёку, выпрямился.

– Всё, пошли на базу… – Ладонью он разогнал пар, искристым облачком вымахнувший у него изо рта, поправился: – Домой пошли.

Наденька, услышав это, улыбнулась невольно.

– Вот ведь как – домом может быть не только московская квартира…

– Да, Наденька… – Чердынцев в невольном порыве ухватил её под руку, поцеловал запястье. – Да. Пройти нам, кстати, предстоит довольно много – восемь километров.

На краю поля, где партизаны встречали гостей, неожиданно раздалась автоматная очередь, за ней вторая. Потом громко бухнула винтовка – явно не немецкая, а наша трёхлинейка, затем вновь прострекотала автоматная очередь, попробовала разорвать морозное пространство, но не сумела – слишком крепко спёкся леденеющий воздух. Чердынцев сдёрнул с плеча автомат, взвёл затвор, тот масляно клацнул, поддался неохотно – смазка на морозе загустела, сделалась клейкой, не одолеть, – крикнул маленькому солдату:

– Уводи отсюда скорее людей, Ломоносов! Нас засекли!

– Вот мать честная! – Ломоносов выругался. – Хорошо, хоть груз уложить успели.

Мешки были уложены на волокуши и перетянуты верёвками.

– Ты куда, Женя?! – тонко, как-то надорванно, будто её подсекла пуля, вскрикнула Наденька.

– Я догоню вас. А вы уходите! Уходите скорее! Мы вас прикроем. – Чердынцев бегом устремился к краю поля, на выстрелы, следом за ним, утопая по щиколотку в снегу, устремились ещё пять человек – личная гвардия командира партизанского отряда.

– Опоздали фрицы! – удовлетворённо произнёс Ломоносов. – Пусть теперь лижут нашу задницу!

Грубо сказано, но точно. Ломоносов спешно повёл гостей на другой конец поля, за ним бегом потянулись разведчики с волокушами, оставляющими на снегу широкий след да взвивающуюся в воздух хрустящую серую пыль.

Чердынцев на бегу засёк передвигающиеся по закраине тёмные фигуры, по суетливости движений, по поспешности, которая бывает дозволена при отступлении, но никак не в бою, по частой пальбе, которую вели эти фигуры, понял – это полицаи, и дал по ним очередь из «шмайссера». Бил наугад, на авось, совершенно не рассчитывал, что пули дотянутся до бегущих целей, но расчёт оказался верным – пули всё-таки дотянулись до неприятных фигур, до Чердынцева донеслись крики, два человека на бегу ткнулись в снег и не встали, остальные беспорядочно рассыпались по закраине.

Стрельба раздавалась и справа, в темнеющем углу поля, где Чердынцев выставил пост охранения. Хорошо, что пост он догадался сделать усиленным, а вообще-то надо было его

усилить ещё больше и дать бойцам ручной пулемёт.

Но если бы да кабы, росли б тогда во рту грибы, и был бы тогда это не рот, а целый огород, и не надо было бы ходить в лес, искать грибы, а потом заботиться, чтобы они не пропали – зажарить их или засолить. Тьфу, и откуда только принесло этих продажных обормотов? В том, что это были полицаи, Чердынцев уже не сомневался. Но наверняка с ними есть и немцы.

В сугроб в полуметре от Чердынцева воткнулись несколько пуль, снег пронзительно зашипел, отплюнулся холодным светлым паром, Чердынцев упал на землю, отполз немного в сторону и снова поднялся на ноги. Послал в тёмные, опять начавшие мельтешить фигурки очередь, бойцы из личной гвардии поддержали командира огнём, мельтешня на закраине разом прекратилась – тёмные фигурки попадали в снег и сделались невидимыми.

Конечно, противника неплохо было бы уничтожить совсем, но для этого надо иметь побольше силёнок, ещё – и пару-тройку пулемётов да и время для маневра… Впрочем, задача такая перед партизанами не стояла, задача была другая: встретить прибывших товарищей и благополучно доставить их на базу. На саму базу ни немцы, ни полицаи сейчас не сунутся – до тех пор не сунутся, пока болото не промёрзнет хотя бы метра на три, а это произойдёт не раньше, чем месяца через полтора…

Чердынцев вновь дал очередь по возникшим в темноте

поля, очередь была короткой – кончились патроны. Чердынцев поспешно сменил рожок. Люди, находившиеся на закраине поля, ответили, несколько пуль по-воробьиному чиркнули, проносясь над самой головой лейтенанта.

Он вдруг подумал о том, что его могут убить. Ранее такая мысль никогда не приходила в голову, а сейчас пришла. И он понимал, в чём причина. Очень будет обидно погибнуть сейчас, когда Наденька прибыла в его отряд. Чердынцев засёк новые вспышки на закраине поля, дал по ним очередь, ствол «шмайссера» пополз вверх, будто живой, – попался рожок с усиленными зарядами, лейтенант чуть опустил автомат, и пули точно накрыли чёрный ночной пятак, украшенный приплясывающими оранжевыми глазками чужих выстрелов.

Глазки исчезли.

Через несколько минут он добрался до охранения, по снегу перекатился в утоптанное углубление, где лежали двое партизан.

– Все целы? – просипел надорванно. Бегать и ползать по снегу – дело нешуточное, трудное.

– Один раненый, остальные все целы.

– Кого ранило?

– Игнатюка знаете?

– Конечно.

– Его вот…

– Надо срочно выносить его из-под огня.

– Пока нет такой возможности… Видите, на всякое шеве-

ление они бьют из автоматов. И бьют, гады, плотно.

Чердынцев перевалился через край углубления, по снегу перебрался в следующее гнездо, где находился раненый Игнатюк, с ним трое партизан, возглавляемых Ерёменко. Ерёменко своей привычке решил не изменять – вновь обрил голову наголо, хотя зачем брить её, когда стоят такие морозы, лейтенант не понимал, холодно ведь. Игнатюк находился в сознании. Чтобы не стонать, он закусывал губы, жевал их, обнажая крепкие блестящие, с правой стороны испачканные кровью зубы. Лейтенант тронул его рукой:

– Как чувствуешь себя?

– Пока держимся, – с трудом просипел Игнатюк, стиснув челюсти.

– Держись, браток, скоро эвакуировать тебя будем, – пообещал Чердынцев, – чуть осталось… Как только темнота наступит.

В ответ Игнатюк сипло, выворачивая себя наизнанку, застонал – а может, и закашлялся, – на лбу у него вздулись жилы.

– Потерпи немного. У нас в отряде теперь врач есть! Свой, – успокаивающе проговорил Чердынцев. – Умереть тебе не дадим… – Лейтенант ощутил, как у него невольно задёргалась щека: не надо было произносить слово «умереть», такие слова – вообще табу, когда имеешь дело с ранеными, но делать было нечего, слово это вылетело… Чердынцев вскинул автомат и дал очередь по двум фигурам, уползав-

шим с поля, уже перевалившим через закраину, но сделали это запоздало – Чердынцев опередил их.

Впрочем, попал он или не попал, разобрать было трудно, всё уже стала поглощать быстро наваливающаяся вечерняя чернота. Огонь стал слабеть. Через десять минут Чердынцев скомандовал:

– Отходим! Первым уносим раненого. Два человека – со мной, будем прикрывать отход.

Старое нескошенное поле покинули благополучно: стрельба стихла совсем, и одной и другой стороне было жаль впустую жечь патроны. Игнатюка вынесли, и он, «рыжий, рыжий, конопатый», был первым человеком в отряде, которому врач Надежда Шилова оказала медицинскую помощь: вытащила пулю из предплечья, перевязала и потребовала от командира отдельную землянку для «медсанчасти». Командир подивился Наденькиной напористости и землянку выделил.

Они сидели вдвоём и пили чай с роскошным печеньем московской фабрики «Рот фронт» – Чердынцев и Наденька Шилова, двое влюблённых друг в друга людей, вспоминали прошлое. Верно говорят, что без прошлого нет настоящего, без него невозможно и будущее, – эти двое вспоминали прошлое, Москву, безмятежные походы в кино, светлые майские вечера, пахнущие сиренью.

– Москву ты не узнаешь, она стала совсем иной, – сказала Наденька, подняла алюминиевую кружку, подержала в руке,

бережно, словно шампанское, отпила немного. – Москва стала суровой, как никогда. Тёмные окна, заклеенные бумажными полосками, патрули на улицах, в небе аэростаты. Ничего от безмятежного прошлого, Женя, совершенно ничего. Жёсткий военный город. Если патрули встречают на улице хулиганов, грабителей – расстреливают на месте. Потом приходит специальная машина, подбирает трупы. Я сама видела…

Чердынцев прижал к себе Наденькину голову.

– Лучше бы ты этого не видела. К маме моей не заходила, не общалась?

– Нет. По-моему, она эвакуировалась. Москва ныне совсем пустая. От прежнего числа жителей остались, думаю, лишь пятая часть. А может, и того меньше. Большинство эвакуировались. За Урал, в основном. В Среднюю Азию. Артисты, насколько я знаю, уехали в Ташкент. Писатели – в Алма-Ату.

– Хотел бы я написать письмо отцу с матерью. Только как оно дойдёт?

– Штаб партизанского движения, думаю, это сделает…

Военная гимнастёрка сидела на Наденьке, как влитая, и очень ей шла. Зелёные защитные петлицы, по два жестяных, окрашенных в такой же защитный цвет лейтенантских кубаря, медицинская эмблема: чаша с заглядывающей в неё змеёй, широкий комсоставский ремень, ладно подогнанные по ноге меховые сапоги – всё это делало Наденьку взрослой и

очень привлекательной. Хотя в памяти Чердынцева, в его мозгу прочно запечатлелось недавнее прошлое, Наденька в нём не была взрослой, не могла просто, была худенькой инфантильной девчонкой, до потери сознания любившей своего отца, Москву, библиотечную тишину, мороженое, красную пузырчатую газировку с вишнёвым сиропом, первомайские демонстрации, глубокомысленные дискуссии, а также дежурства во время практики в больнице, когда она оставалась одна на несколько палат и помогала больным… Милосердие, желание облегчить страдания, утишить боль, вернуть хворому человеку сон в бессонную ночь, поднести в мензурке лекарство, всё это было не только в крови у Наденьки, это составляло часть её сути.

Чердынцев никак не мог поверить в то, что видит её, что жизнь неожиданно сделала ему такой королевский подарок и вообще совершила такой зигзаг, свела вновь двух людей, которым, может быть, уже и не было дано встретиться. Лейтенант зарылся в Наденькины волосы и спросил запоздало – собственно, он должен был давно задать вопрос, но не задавал, что-то останавливало его:

– Как отец?

Далёкий жалобный стон возник у Наденьки внутри, плечи её опустились.

– В сентябре ушёл в ополчение, – наконец ответила она, – больше я ничего о нём не слышала. – Несколько мгновений она боролась с собой, потом произнесла с сырым вздохом: –

Запросы ничего не дали… Знаю только, что ополченческий батальон, с которым он отправился на фронт, погиб почти полностью… – В Наденьке снова возник и исчез стон.

Лейтенант погладил её по голове, поправил прядь волос, потом вторую, произнёс тихо, тщательно подбирая слова:

– Ещё не всё потеряно. Раз нет официального извещения, значит, не убит. Может быть, жив, но не может дать о себе знать. Как я, например. Я же до сих пор не могу подать о себе весть.

– Официальное извещение, о котором ты упомянул, называется похоронкой. Похоронки – это самое тяжёлое, что есть ныне в жизни Москвы. М-м-м… – Наденька выпрямилась, в ней словно бы что сломалось, сорвалось, она сейчас пыталась сопротивляться самой себе, но не могла – вспомнив отца, она едва сдерживала подступившие к глазам слёзы.

– Верить, что отец жив, надо… Веру терять никак нельзя, – проговорил Чердынцев чужим голосом, подивился тому, что сказал, – не его были эти выспренные слова, не его… Чьи – он не знал.

– Хорошо здесь у тебя, – задумчиво произнесла Наденька, уходя от воспоминаний и слушая, как трещат дрова в печке, как гудит труба, выведенная из землянки не прямо, а двумя хитрыми коленами (сделано это было специально, с одной стороны, для маскировки, чтобы дым впитывался в землю, а с другой, чтобы тепло не улетало из жилья со скоростью свиста), как поскрипывает уютно, по-домашнему ласковый

чёрненький сверчок, неведомо откуда взявшийся и поселившийся в выковырине за самодельным столом. – Даже не подумаешь, что идёт война…

– Она где-то идёт, не здесь, – не очень-то ловко и складно проговорил Чердынцев, – здесь её сегодня нет. А завтра может быть…

– Скажи, Женя, я могу с твоими бойцами сходить на операцию? – задала Наденька неожиданный вопрос, который Чердынцев не сразу и понял.

– На какую операцию? – спросил он недоумённо.

– Ну-у… С подрывниками, с разведчиками.

– Нет. Это категорически запрещено.

– Кем?

– Полковником Игнатьевым. Знаешь такого?

– Знаю, – нехотя ответила Наденька, шевельнулась, отстраняясь от Чердынцева, – довольно суровый полковник. Ходит в форме НКВД.

– Видать, всех партизан причислили к этому ведомству, – сказал Чердынцев, – к НКВД. – Ему важно было отвлечь Наденьку от разных глупых мыслей и желаний, от походов на боевое задание, от дурацкой, извините, тяги увидеть живого врага… Этого ещё не хватало… Лучший враг – мёртвый враг.

– Не мог Игнатьев такое распоряжение дать. Вообще-то он мужик, конечно, суровый, но такое распоряжение дать не мог.

– Это тебе кажется – не мог. А на самом деле мог и дал его.

– Глупое распоряжение!

– Полковник так не считает.

– Я к нему сама обращусь по рации за разрешением.

– Имей в виду – я буду против. – Чердынцев вновь зарылся носом в волосы Наденьки, чмокнул губами в завиток, прикрывавший шею, и замолчал.

Молчание прервала Наденька, шевельнулась обеспокоенно:

– Ты чего затих?

– Думаю.

– О чём? О Москве?

– О тебе.

– Весьма похвально. Даже более чем похвально. И что же у тебя в мыслях?

– Наденька, выходи за меня замуж! – неожиданно сдавленным, каким-то деревянным шёпотом произнёс Чердынцев.

Наденька съёжилась, сделалась совсем маленькой, беззащитной, будто школьница, проговорила тихо:

– Господи!..

– Я серьёзно предлагаю… Я не хочу больше терять тебя!

– Господи! – вновь произнесла Наденька, повернулась к Чердынцеву, глаза у неё были влажные и встревоженные. – Да ты и не терял меня!

– Это тебе так кажется. А мы с Ломоносовым отступали

от самой границы, много раз попадали в разные передряги, иногда казалось – всё, уже не выберемся… Но везло – в живых остались, и я не потерял тебя…

– Остаться в живых на войне – это главное.

– Не это, Наденька, не это… Главное – остаться неискалеченным. С руками, с ногами, с глазами. Умереть не страшно, страшно быть инвалидом.

Наденька на это не отозвалась, только плечи у неё дрогнули раз-другой и опустились низко. В печушке продолжали потрескивать дрова, по сухой, кое-где прижатой ошкуренными жердями стенке земляного жилища бегали светлые блики, сверчок, разогревшийся в тепле, блаженствовал, тянул свою бесконечную скрипучую песню.

– Надо попросить разведчиков, чтобы притащили откуда-нибудь патефон, – сказал Чердынцев. – Уже забыл, как поют Козин, Утёсов, Козловский.

– Артисты сейчас сколачиваются в бригады и разъезжаются по фронтам. Появились новые песни, Женя…

– Надо полагать. Но я их не слышал.

– Люди здорово изменились. Беспечных, счастливых лиц, как до войны, уже нет.

У Чердынцева затекла спина, хоть и лёгкой была Наденька, а прислонилась к нему – и тяжело сделалось, но Чердынцев боялся пошевелиться, даже вздохнуть боялся, чтобы не потревожить Наденьку. Он вообще боялся спугнуть судьбу: ведь то, что Наденька очутилась в его отряде, – подарок судь-

бы. Очень дорогой подарок… Но что скажет Наденька в ответ на предложение? Чердынцев втянул в себя воздух, затих, буквально зажав его зубами. Наденька спросила:

– Ты чего так тяжело дышишь?

– Совсем не дышу. Жду от тебя ответа.

– Ах, Женя, Женя, – с упрёком произнесла Наденька, повернулась к Чердынцеву, приложила палец к его губам. – Не говори больше ничего, ладно?

– Почему?

– Потому что я согласна…

Это были счастливые для Чердынцева дни. По рации – теперь у отряда была своя рация! – он запросил у партизанского начальника Игнатьева разрешение на брак с Наденькой, полковник же изумился шустрости молодого командира отряда, но добро дал: человеком он был хоть и суровым, но очень неглупым, понимал, что на войне может произойти всякое, в том числе и поспешное бракосочетание, так что чего ему перечить и ломать мимолётное счастье своих подопечных?

Перечить и ломать чужое счастье он не стал…

Из партизанского штаба по этому поводу передали двадцатилитровую канистру спирта-ректификата и тяжёлую, чёрного благородного стекла бутылку «Советского шампанского» с личной поздравительной запиской полковника.

Стол накрыли в командирской землянке. За посажёного отца был Мерзляков. К роли своей он отнёсся серьёзно – как

к выдвижению на пост первого секретаря райкома партии. Конечно, весь отряд в землянку вместить было невозможно, но посменно, поочередно, с заходом в гости на несколько минут можно было пропустить всех – каждый мог опрокинуть «наркомовскую» стопку за командира и врачиху, которая пришлась отряду по душе: и обходительная она, и вежливая, и лечить умеет. А что может быть главнее для воюющего человека, чем осознание, что, если он будет ранен, продырявлен вражеской пулей, ему не дадут умереть… Когда есть уверенность в этом, то и пули бывают не страшны.

Мерзляков заметил, что кроме посажёного отца на всякой свадьбе должен быть дружка – человек, близкий к жениху, как должна быть и подружка – товарка невесты.

Насчёт дружки определились сразу – маленький солдат, – а вот насчёт товарки дело обстояло сложнее. Женщин в отряде не было. Если только пригласить из райцентра Октябрину, но это – штука невозможная, нарушение всех правил, о райцентровских помощниках никто не должен знать…

– А нельзя ли это место оставить вакантным? – спросил Чердынцев у комиссара.

– Не положено, – важно ответил тот, разгладил усы.

– Ну нельзя же на этот ответственный пост назначать мужчину… – Чердынцев засмеялся. – Нелепо это… Да и к чему всякие дружки и подружки – война ведь.

– Мужчину? – Мерзляков запоздало нахмурился. – И это не положено.

– Значит, обойдёмся без дружек и подружек, – решительно заявил Чердынцев.

Мерзляков пробовал настоять на своём, но Чердынцев, как Чапай, лихо рубанул рукой воздух, и комиссар отступил.

Когда откупорили шампанское и налили его в стакан Наденьке, Чердынцев предупредил набившихся в землянку бойцов:

– Только не вздумайте орать «Горько»!

Бойцы заулыбались плотоядно – все, как один, и гаркнули дружно, в общем воодушевлённом порыве:

– Горько!

Чердынцев нахмурился:

– Я же просил вас, товарищи… Не вгоняйте меня в краску.

– Горько! – раздалось в ответ ещё более громкое.

Пришлось Чердынцеву подчиниться народным массам – он наклонился к Наденьке и произнёс ей на ухо, тихо-тихо, так, что никто более не услышал: «Я тебя люблю!», потом поцеловал её. Он стеснялся происходящего, бойцов своих, Мерзлякова, и Наденька тоже стеснялась…

Через десять минут состав бойцов сменился: одни выпили спирта, закусили тушёнкой, хлебом и солёными огурчиками, доставленными из деревни, поблагодарили командира с его молодой женой и ушли, на их место заступили другие… Новый состав также слитно, дружно, в одну глотку заорал: «Горько!» Чердынцев не выдержал, вздохнул:

– Мужики, не мучайте нас с Надеждой Ивановной! Ну, пожалуйста!

– Нет, командир, пока не поцелуешься, не отпустим, – светясь рыжей головой, громко проговорил Игнатюк, – кричать будем.

Пролежал он в землянке, отведённой под лазарет, недолго, Наденька быстро подняла его на ноги, рана у Игнатюка затянулась, и он начал ходить, – сегодня был первый день, когда он вышел на улицу. Судя по бодрому голосу, через неделю Игнатюк уже будет готов отправиться на новое боевое задание.

– Горько! – оглушительно выбил из себя Игнатюк. – Горько! – Тут командир глянул на него так выразительно, что Игнатюк перешёл на сип и закашлялся, но форса не растерял, выколотил кашель в кулак и, улыбаясь во весь рост, прокричал вновь: – Горько!

Вот настырный хохол! И как только ему кричать не больно, ведь ранен же…

Чердынцев нагнулся к Наденькиному уху, поцеловал в завиток волос, спрятанный за маленькой розовой мочкой, и прошептал едва уловимо – он по-прежнему стеснялся своих бойцов:

– Я тебя люблю!

– Горько!

Чердынцев осторожно, словно бы обращался с ценным хрупким хрусталём, поцеловал Наденьку в щёку, потом в

уголок рта, обнял её за плечи и поднял алюминиевую кружку:

– За вас, бойцы! За то, чтобы мужество никогда не покидало вас!

– За нашу советскую Родину! – азартно прокричал Игнатюк.

Что было, то было, этот простой лозунг считался одним из самых популярных в сорок первом – сорок пятом годах. По популярности с ним мог соперничать лишь отчаянный крик, который звучал во время штыковых атак под свист немецких пуль: «За Сталина!»

Все бойцы побывали в тот вечер в землянке командира, все подняли «наркомовскую» пайку за Чердынцева и его жену, некоторым, наиболее проворным, досталось даже по две пайки.

Ночь была тихая, мглистая – ни одной звёздочки не было видно, – где-то, конечно, и были видны сонные серебристые сколы, и радовали чью-то душу, но не здесь… Здесь свет звёзд угасал на полдороге.

Неподалёку выли волки – их напугала война, и они стаями покидали места, где часто звучала стрельба и рвались гранаты, уходили в глухие леса, но там им нечего было есть, и волки вновь потянулись в заселённые, обжитые края, где и люди были, и скот был – желанная пожива для серых. Вой их наводил тоску – не думал Чердынцев, что свадьба его будет проходить под такой аккомпанемент.

Впрочем, звучала не только волчья музыка. В самый разгар торжества маленький солдат подал сигнал разведчикам, и те внесли в землянку открытый патефон с пластинкой, поставленной на диск. Ломоносов поднял руку, прося тишины, принял ношу и водрузил патефон на середину стола.

Поскольку стол был маленький, то патефон, обтянутый чёрным тусклым дерматином, занял едва ли не половину пространства, хотя среди стаканов и кружек с разведённым спиртом, банок с тушёнкой и кусков хлеба, нарезанных крупно, с мужицкой щедростью, он выглядел вполне уместно.

Ломоносов поклонился молодожёнам:

– Примите на добрую память от разведчиков!

Указательным пальцем он поддел рычажок тормоза, и диск патефона тяжело и неспешно закрутился, Ломоносов удовлетворённо кивнул и поставил на пластинку головку, увенчанную большой глазастой мембраной, будто короной. Из-под иглы послышалось шипение, затем возник голос, которого многие из собравшихся не слышали уже очень давно, голос этот, молящий, печальный, заставляющий учащённо биться сердце, невольно выбивал из глаз слёзы.

Если мы расстанемся с тобою,
Помни обо мне,
Если будешь счастлив ты с другою,
Помни обо мне…

Пела Кето Джапаридзе. Господи, неужели, кроме войны, существует ещё какая-то жизнь, и они ею жили, совсем не думая о том, что придётся браться за оружие и стрелять в других людей, у которых тоже своя жизнь, были радости и светлые дни, и они ни о чём не думали… Наденька украдкой смахнула что-то с одного глаза, потом с другого.

Жаль, пластинок было мало – только одна, но и одна она подняла настроение: без Кето Джапаридзе и праздник не был бы праздником, а свадьба – свадьбой.

Даже волки, облюбовавши себе место за болотом, перестали выть – услышали молящую печальную песню.

Кто может ответить – вернётся безмятежная довоенная жизнь или нет? Чердынцев прижал к себе Наденьку. Как бы там ни было, он сделает всё, чтобы её защитить, чтобы чёрные месяцы лихолетья промахнули мимо, не задели её. Это будет, конечно, трудно, но лейтенант готов был принести себя в жертву, чтобы Наденька не познала даже вкуса беды, не говоря уже о самой беде.

По рации от Игнатьева, пробившись сквозь треск и завывания метели, пришло тревожное распоряжение: «В районе города Калинина идут тяжёлые бои. Немцы беспрестанно атакуют. По вашей ветке движутся основные эшелоны с подкреплением, все – в район Калинина. Необходимы свежие данные: сколько эшелонов проходит в день, какая техника стоит на платформах, сколько людского состава находится в вагонах. Необходимо активизировать подрывную деятель-

ность». Чердынцев вызвал к себе маленького солдата, протянул ему бумагу с расшифрованным текстом:

– Читай!

Ломоносов, по-детски шевеля губами, прочитал, ярко полыхнул пунцовыми щеками.

– Держится, значит, Россия?

– Ещё как держится! И впредь будет держаться.

– Я так понял, товарищ командир, надо собираться в поход на железную дорогу?

– Правильно понял. И группе Бижоева – тоже.

– Это само собою разумеется – куда же мы без бикфордова шнура?

– С вами пойдёт прикрытие – взвод Геттуева.

– Геттуева уважаю, – серьёзно проговорил Ломоносов, в светлых глазах его заплясали, задвигались крапинки. – Надёжный товарищ, с таким можно и водку пить, и коней воровать, – добавил он.

– Готовься, Ломоносов, – сказал лейтенант, протянул к печушке стынущие пальцы: морозы прижали так, даже в жарко натопленной землянке было холодно, а на улицу вообще нельзя было высунуть нос, но высовывать надо было, иначе кто же будет бить фрицев? Не медведи же с волками. – Обязательно возьмите с собой топлёного сала, – приказал Чердынцев.

Из Тишкина им передали целую миску топлёного почерневшего сала, которым хорошо лечить обмороженные ме-

ста, да и натираться им, прежде чем выйти на мороз, тоже невредно – помогает здорово…

– Без этого мы – никуда… – Маленький солдат улыбнулся, слизнул языком капельку крови, проступившую из трещинки на нижней губе, потрогал губу пальцем – вот он, очередной укол мороза.

Утром партизаны, уходившие на железную дорогу, выстроились на речном берегу, под грядою заснеженных сосен – отсюда открывался отличный вид, от которого внутри что-то сжималось невольно: сиреневая снежная даль с провалами, образованными извилистым руслом Тишки, зеленоватая, в белесость, щётка хвойного леса, смыкающаяся с небом, мутное красное пятно, плавающее в выси, – отсвет солнца. Простая картина, ничего в ней выдающегося вроде бы нет, а за душу берёт.

Чердынцев прошёлся вдоль строя, вглядываясь в лица. Не ведал он, все ли бойцы вернутся обратно, и сами они не ведали этого… Понимал лейтенант – надо сказать какие-то напутственные слова, и он скажет их обязательно, но не знал, как начать эту речь, с какого обращения, с какого доходчивого сердечного слова – одного-единственного?

Обратиться к ним «бойцы!» – это будет казённо, сухо, «товарищи!» – тоже не бог весть что, хотя само слово «товарищ» – надёжное, доброе, противостоит барскому словечку «господин»… Есть и ещё слова, другие, но какие именно, лейтенант не знал, их словно бы выдуло из головы, вот ведь

как.

– Друзья! – произнёс он негромко и почувствовал, как мороз перехватил ему глотку. – Из штаба партизанского движения пришла хорошая новость – немцы под Москвой разбиты наголову и откинуты на добрую сотню километров. Это только начало! Дальше мы будем бить ещё жёстче, ещё сильнее, до тех пор будем бить, пока не выпроводим всех их за пределы нашей Родины. Нечего им делать у нас. Победа не за горами. Но к ней ещё надо прийти. Поэтому и отправляетесь вы сегодня на задание, которое получено из штаба: произвести детальную разведку на железной дороге – это раз, и по возможности пустить под откос воинский состав с фрицами – два. Задание опасное, но почётное. Помощь от него фронту будет ощутимая.

Чердынцев говорил, а про себя думал – не те слова он всё-таки произносит, слишком много в них сухого, казённого, газетного, от пропагандистов, которые читают мораль трудягам перед началом рабочего дня и в перекур, не те слова он рождает всё-таки… И Мерзляков вряд ли родил бы те слова – это трудно.

Через несколько минут группа, ведомая маленьким проворным Ломоносовым, ушла, Чердынцев же не покидал берега речки, прозванного остряками «плацем», до тех пор, пока в заснеженном лесном пространстве не скрылся последний человек.

Ушли бойцы на задание, и на душе разом сделалось бес-

покойно, начала грызть тревога: всё ли будет в порядке с людьми, все ли из них вернутся?

И лагерь с уходом группы здорово опустел, куда ни глянь – глухо закрытые двери землянок, будто заколоченные, и ни одного человека около них.

Днём засекли немецкий самолёт, низко летевший над речной поймой. Над далёким лесом самолёт развернулся и неспешно отправился в обратный путь – опять над речной поймой.

– Может, попробовать его из пулемёта? – предложил Мерзляков, озабоченно пощипывая кустистые, густо разросшиеся усы.

– Бесполезно. Только себя обозначим. А так он вряд ли что разглядит со своей верхотуры. Деревья да деревья. А что между деревьями – не больно-то и поймёшь.

– А я бы саданул по нему, – не согласился с командиром Мерзляков, – чтобы знал, где можно летать, а где нет.

– Меня беспокоит другое, Андрей Гаврилович. Этот самолёт – разведчик. Если что учует, то, несмотря на нашу тщательную маскировку, за ним могут и бомбардировщики пожаловать. Надо подыскивать место для запасного лагеря и рыть там землянки.

– Надо, – не стал спорить комиссар. – Такова жизнь, как говорят мудрые люди…

– В общем, надо посылать людей на поиск.

– А не проще ли подождать Ломоносова, когда он со сво-

ими ребятами вернётся?

– Нет, не проще. У Ломоносова и без этого дел по горло.

Кое-какие намётки по части запасного лагеря у них уже имелись, они были сделаны ещё в ноябре, но всё это было не то. Нужно было отыскать такое место, чтобы и по земле к нему подобраться было трудно, и с воздуха его не было видно.

– Кого пошлём на это задание? – поняв, что Чердынцева насчёт разведчиков не переубедить, деловито спросил комиссар.

– Самого старого, самого опытного бойца из всех, что у нас есть, с ним двух человек. Пусть походят по земле, посмотрят, пальцами пощупают, понюхают, а потом доложат нам свои соображения.

– Согласен, – сказал Мерзляков.

Самым старым и самым опытным бойцом в отряде был дядя Коля – седоусый, с серебряными висками и морщинистым лицом сутулый партизан, прибравший к своим рукам хозяйственные дела. Фамилия у дяди Коли была странная, на фамилию совсем не похожая – Фабричный.

– Это прилагательное какое-то, а не фамилия, – смеялись над дядей Колей отрядные остряки.

Надо отдать должное дяде Коле – на подковырки и всякие насмешки он не обращал внимания совсем, лишь добродушно топорщил усы, разом становясь похожим на северного моржа, вылезшего из холодной воды погреться на осве-

щённую весенним солнышком льдину.

– Прилагательное так прилагательное, – согласно кивал он, – я своей фамилией доволен. Ни у кого такой фамилии нет, а у меня есть… Завидуйте, громодяне!

– Ну что, пошлём на поиск дядю Колю Фабричного? – предложил Чердынцев.

– Человека-прилагательное? – Комиссар не выдержал, раздвинул губы в улыбке. – А что? Самое то будет. Хотя и не разведчик.

Утром дядя Коля вместе с двумя помощниками, взяв с собой запас еды и патронов, пристегнул к валенкам самодельные лыжи, чтобы не утонуть в снегу, и растворился в лесу. Чердынцев проводил его, никаких наставлений на прощание давать не стал, только приобнял Фабричного да молвил коротко:

– Мы с комиссаром на тебя, дядя Коля, надеемся.

Тот часто поморгал глазами, неожиданно сделавшимися влажными – ну будто покидал этот лагерь навсегда, – и поклонился по-старомодному учтиво.

– Постараюсь не подвести.

– Осталось нам, Евгений Евгеньевич, ещё одну группу отправить куда-нибудь, и всё – лагерь совсем пустой останется, – сказал Мерзляков.

– Не останется, комиссар, не боись. Даже если нас не будет – другие найдутся, займут наши места.

Через четверо суток с железной дороги вернулась груп-

па Ломоносова. Несколько человек в группе поморозились – кто нос, кто щёку, кто ухо, подчерёвочное сало не помогло. Но это было ничто по сравнению с тем, что двое партизан остались лежать на шпалах железной дороги.

– Немцы опыт обрели, научились, – сказал Ломоносов, – видать, их везде бьют и в хвост и в гриву… Теперь они перед паровозом платформу с пулемётом пускают, а то и пару платформ – те выкашивают всё подозрительное, снег выскребают до самой земли… В общем, попали мы под пулемётный расклад, не уберегли – двух человек я потерял.

– Кто это? – коротко спросил Чердынцев.

– Гордеев и Кофман.

Знал их Чердынцев плохо – в отряде они появились в конце ноября, особо себя ничем не проявили и вот на первом же задании угодили под пулемётную очередь, пущенную с платформы, обложенной туго набитыми песком мешками.

Ломоносов покусал жёсткие, в трещинах и заусеницах губы.

– Движение на дороге такое плотное, что машинист поезда, идущего сзади, видит хвост переднего состава, к полотну не пробраться. – Маленький солдат покусал губы вновь. – Но мы изловчились, подобрались… Фейерверк устроили – один эшелон пустили под откос.

Чердынцев не удержался, шагнул к Ломоносову, обнял его. Похлопал ладонью по спине:

– Вот это, Иван, хорошая новость, молодец! Поздравляю!

– Побольше бы таких новостей! – патетически воскликнул Мерзляков, присутствовавший при докладе.

– Эшелоны, которые шли к Москве, переписали, все до единого… Технику, которая стояла на платформах, грузовые вагоны, пассажирские – словом, всё, всё, всё, товарищ командир. – Ломоносов вновь облизал губы, покачнулся, Чердынцев увидел, что он едва стоит на ногах – так устал. – Через полчаса готов положить вам на стол бумагу с подробным перечислением.

– Может, ты полчаса поспишь, а уж потом положишь бумагу?

– Нет, вначале я доложусь, а потом со спокойной душой выпью сто граммов и завалюсь спать.

– И это верно, Иван. Ты садись, садись. – Чердынцев подвинул маленькому солдату скамейку. – В ногах правды нет…

– Это ещё не всё, товарищ командир. Есть одна интересная новость.

– Выкладывай.

– В Росстани появился новый начальник полиции.

– Чего ж тут интересного, Иван? Он и должен был появиться. Взамен выбывшего не по собственной воле… – В глазах лейтенанта промелькнуло насмешливое выражение, уголки губ дёрнулись – вспомнил прежнего начальника.

Ломоносов прищурился жёстко, будто заглядывал в прицел винтовки, крапинки в светлых глазах его сжались, сде-

лались крохотными, как маковые зёрна.

– Баба это, товарищ командир, – произнёс он, – и вы её знаете…

– Знаю? Откуда, как? Ничего не понимаю, Ломоносов.

– Помните, нас однажды на дороге задержала группа солдат – такие же они были, как и мы, отступающие? Командовал ими старший лейтенант, то ли связист, то ли артиллерист… помните?

– Левенко была его фамилия. Ушёл в деревню за продуктами и привёл немцев.

– Он же был не один, помните? Около него всё время фельдшерица отиралась – то ли Нюся, то ли Ася, то ли Муся, то ли ещё как-то…

– Помню её. Красивая такая женщина. Похожа была на греческую богиню.

– Вот её-то немцы и привезли откуда-то. И назначили начальницей полицейской управы района.

Чердынцев не выдержал, присвистнул изумлённо:

– Вот тебе, бабушка, и серенький козлик! Ещё тогда, похоже, подобралась парочка, баран и ярочка.

– Ничего, товарищ командир, – успокаивающим тоном произнёс маленький солдат, – ярочку отправим туда же, куда и барана. Парочка не должна разлучаться.

– Погоди, Ломоносов, надо посмотреть, как она поведёт себя… А вдруг это какой-нибудь наш агент, внедрённый к немцам?

– Ну вы и скажете, товарищ командир! Может, она вообще за свою работу в немецкой полиции будет награждена орденом Красной Звезды?

– Такого не скажу, Ломоносов, но всё может быть… А вообще новость ты принёс непростую. Это что же выходит, немцы настолько отощали в кадрах, что даже баб стали себе на службу брать?

– Бабы бывают более упёртые, чем мужики. Если зациклятся на чём-нибудь, то в сторону ни за что не свернут… И не колеблются – не то что иные мужики. Но взять бабу на такую должность, товарищ командир…

Вечером во время сеанса связи Петров отстучал в партизанский штаб сведения, которые принесла группа Ломоносова. В ответ пришло короткое, деловое, будто речь шла об урожае морковки на колхозном поле: «Поздравляю! Игнатьев».

– Ну что ж, и на том спасибо, – сказал Чердынцев, подержав в руках бумажку с полковничьим поздравлением, достал из кармана трофейную костяную зажигалку, подаренную ему маленьким солдатом, хотел было сжечь сообщение, но Мерзляков удержал его.

– Я понимаю, Евгений Евгеньевич, это очень противное дело – всякая переписка, бюрократия, канцелярия, бумажки и прочее, но тем не менее я бы канцелярию всю эту сохранял – мало ли что! Когда-нибудь наступит момент – и они понадобятся.

Наверное, Мерзляков прав. Чердынцев помедлил немного, глядя на синеватое пламя зажигалки, потом щёлкнул головкой, гася его. Молча протянул бумажку с текстом комиссару. Тот готовно перехватил листок.

– Вот-вот, – сказал он, – я для этой цели специальную папку приготовил, скоросшиватель из-под сельсоветских документов, в него мы эту ценную бумагу и подошьём.

Для группы, вернувшейся с успешного задания, вечером накрыли стол. В одну землянку, естественно, не вместились, накрыли в двух. Хоть и скудны были партизанские харчи и выпивки особой не было – только немного спирта, а праздник получился, людям это понравилось, и комиссар с молчаливой поддержки командира решил сделать такие «посиделки» регулярными.

– Это то самое, что нам надо… – Он отогнул большой палец левой руки, вознёс над рогулькой щепоть правой руки, выразительно помял пальцами воздух, потёр ими друг дружку – так обычно посыпают солью еду, – и добавил: – Это сплачивает коллектив.

Через несколько дней в лагерь пришло печальное сообщение: в Росстани полицаи задержали партизанскую связную Таню, бросили в старый холодный подвал, расположенный под управой – и здание, и подвал были возведены до революции здешним купцом Масловым для хранения привозных заморских вин, – там её пытали, а через сутки вывели на площадь, расположенную недалеко от маслобойни, на казнь.

Руки Тани были скручены за спиной проволокой, на лице – засохшие кровяные струпья, телогрейка была заскорузлой от крови, поблескивала, будто железная кольчужка, на груди болталась подвешенная на пеньковом шпагате фанерка. На фанерке – надпись, сделанная густым чёрным дёгтем: «Партизанам – смерть».

Таня была спокойна, к месту казни шла ровным, хотя и ослабшим шагом – во время пыток её, конечно, измучили сильно, издевались над ней, на мёртвенно белом лице жили лишь глаза – тёмные горящие угольки.

Когда Чердынцеву рассказали об этом, он чуть не застонал – вспомнил, какие тонкие, изящные руки были у неё, с длинными музыкальными пальцами, совершенно детские, да и сама она была ещё ребёнком, обычным подростком, ещё не устоявшимся, не окрепшим, не уверенным в себе.

Таню привели к виселице, под ноги поставили табуретку, принесённую из конторы маслобойни, заставили на эту табуретку забраться.

Таня молча забралась на возвышение, глянула поверх голов людей, собравшихся на площади, в темнеющую сумрачную даль. Что она там увидела, было непонятно, только на лице её неожиданно появилась детская обрадованная улыбка.

Немцы, находившиеся рядом с ней, изумлённо переглянулись – не ожидали увидеть улыбку на лице человека, приговорённого к смерти, потом потупили головы, словно бы им

стыдно стало, что они не смогли сломать эту слабую тоненькую девчонку, у которой сил-то – тьфу, на одно дуновение ветра, но которая сейчас выглядела сильнее их. Единственный человек, который поглядывал на неё с победным видом, была начальница управы Ассия Шичко. По документам она была Асей, а не Ассией – странное какое-то имя при простонародной, занюханной – судя по всему, местечковой – фамилии…

Шичко выстроила в каре подопечных полицаев, подошла к коменданту, лихо вскинула руку к виску:

– Герр гауптман…

Ася немного знала немецкий, гауптман немного знал русский – для объяснения, чтобы понять друг друга, им хватало. Комендант поправил на голове фуражку с меховыми наушниками, сквозь зубы втянул в рот морозный плотный воздух, прополоскал им челюсти и заговорил:

– Великая Германия, придя в Россию, совершила милосердие. Мы принесли вам цивилизацию, культуру, вы должны быть благодарны нам за это…

Шичко, стоявшая недалеко от гауптмана, широко, по-хозяйски расставив ноги и закинув руки назад, покивала головой – так, мол, это, всё верно, гауптман её кивки засёк, улыбнулся, приподняв аккуратную, словно бы приклеенную к верхней губе нашлёпку усов. Он подражал Гитлеру, и нашлёпка усов у него была, как у Гитлера: квадратная, наодеколоненная (отчего комендант не ощущал никаких других

запахов), плотная, как собачья шерсть.

– Но вы не есть благодарны, – продолжал свою речь комендант, – а потому мы должны вас наказывать. Вот эта женщин, – ткнул он рукой в сторону Тани, продолжавшей смотреть поверх голов в даль пространства и улыбаться, собравшиеся бабы ёжились, глядя на эту неземную улыбку, – есть враг Великой Германии. А врагов своих мы уничтожаем. Так мы поступим и с эта женщин. – Он снова ткнул рукой в сторону Тани, потом повернулся к начальнице полиции. – Приступайте, госпожа Шичко.

– Телиться, извините за выражение, мы не будем. – Шичко подтянула на руках кожаные перчатки. – Мы без церемоний, раз – и готово!

Она подошла к виселице, примерилась и резким ударом сапога выбила из-под ног Тани табуретку. Бабы, неотрывно глядевшие на партизанскую связную, едва сдерживали грудной стон – не ожидали, что всё так быстро произойдёт. Улыбка исчезла с лица Тани, голова подломилась набок, и худое избитое тело закачалось на верёвке.

Комендант негромко и очень неторопливо похлопал в ладони:

– Браво, госпожа Шичко!

Шичко готовно наклонила голову.

– Стараемся ради Великой Германии, герр гауптман!

Три дня Танино тело висело в петле, а потом вечером, в темноте, неизвестные сняли его – тело исчезло бесследно.

Комендант разъярился не на шутку, кричал так, что его было слышно на другом конце райцентра:

– Виноватые будут жестоко наказаны! Отыскать их!

Поиски ни к чему не привели – тело партизанской связной пробовали искать даже с собаками, но всё было бесполезно: в Росстани под руководством Октябрины Пантелеевой действовала целая подпольная группа. Танино тело было спрятано в лесу, а через неделю, когда всё утихло, похоронено на кладбище райцентра.

– Друзья, запомните это место, – сказала Октябрина тем, кто находился с нею на кладбище, – когда прогонят немцев и кончится война, на Таниной могиле будет установлен памятник.

Было темно, в домах райцентра – ни одного огонька, лишь около комендатуры тускло светил прикреплённый к столбу фонарь, раскачивался из стороны в сторону, то пропадал, то возникал вновь, будто подавал сигналы, отбивал морзянку, на небе также не было ни одного огонька – темно и холодно там, а в чёрном лесу, в километре от кладбища, голодно и одиноко выл волк.

По команде Октябрины спутники её начали расходиться. Это в большом городе подполье может действовать, особо не остерегаясь, там полно разных неприметных закутков, готовых спрятать подпольщика, а в маленьком городке, в посёлке либо в райцентре, больше похожем на деревню, чем на приметный населённый пункт, работать тяжело, опасно – здесь

и укромные места все наперечёт, и дворняга каждая может гавкнуть на подпольщика и выдать его немцам…

Но подполье в Росстани действовало.

Октябрина возвращалась домой и думала о Шичко: кто она такая? И вообще откуда берутся подобные люди – неужели их рожают женщины? Октябрина дошла до крайнего дома, встала за угол, вгляделась в тёмную бездонь улицы. Ничего на улице и никого – пустая, да и сам райцентр будто вымер: пустой, совершенно пустой, ни одного человека. Она прислушалась: может, жёсткий, промороженный до стеклистости снег где-нибудь хрупнет, подаст голос под нажимом неосторожной ноги?

Нет, было тихо. Октябрина, прижимаясь к стенкам домов, двинулась дальше. Конечно, и с немцами здешними, и с этой пьянью – полицаями можно поквитаться, достаточно только сообщить в партизанский отряд Чердынцева, своими силами подпольщикам, увы, не справиться, но и самим тоже не следует сидеть сложа руки. Нужно… нужно выпустить листовку – на смерть партизанской связной Тани. Пусть полицаи во главе со своей новоиспечённой начальницей малость задумаются. Октябрина огорчённо качнула головой – листовку надо было выпустить неделю назад, сразу после казни, и как только ей не пришла в голову такая простая мысль?

Примчавшийся из темноты ветер вымел из-под ног мелкую крошку, поднял её наверх, жёсткой горстью кинул в лицо, едва не окровенив щёки. Октябрина нагнула пониже го-

лову, притиснула к лицу руку в варежке.

На улице по-прежнему ни одного человека. И ни одного огонька.

До дома она добралась без приключений – так ей никто и не встретился, и хорошо, – нырнула в тёплые сенцы и там, прислонившись к стене, немного отдышалась. Перед глазами плавали, медленно перемещаясь с места на место, какие-то странные желтоватые кольца.

Она сбросила с ног валенки, на которые были натянуты галоши, чтобы валенки не растаптывались, подхватила их в руки, в шерстяных носках прошла в дом. Хозяйка, у которой она снимала комнату, морщинистая старушка с гладко причёсанной головой, в которой не было ни одного седого волоска, приподнялась на своей постели.

– Где же ты, родимая, была? Неужели нашла себе молодого человека?

– Нашла, бабушка Вера, – стараясь придать голосу весёлое выражение, отозвалась Октябрина, – не ругайся, пожалуйста.

– Это хорошо, Октябрина. Не то такая молодая, красивая – и всё одна да одна… Хватит быть одной.

– Война, бабушка Вера.

– Война войной, а жизнь жизнью. Война не есть конец жизни, – произнесла бабушка Вера мудрёную фразу и, похоже, сама удивилась тому философскому фортелю, который сочинила на ходу. – Тебе надо детей рожать, а не о войне

думать…

– Всему своё время, бабушка.

Утром к Октябрине пришли две подружки, две сёстры-близняшки Проценко, Вета и Вита, которым Октябрина в десятом классе преподавала литературу, втроём они от руки написали пятьдесят листовок.

Текст был простым, как и предложение к жителям Росстани, оно тоже было простым: люди, поднимайтесь на борьбу с захватчиками – не ходила Россия под чужой пятой, а если и ходила, то старалась быстрее избавиться от неё, врагам давала по шее и пинками выгоняла за пределы родной земли, только волосья из чубов под ноги убегавшим сыпались… Надо дать по шее и сейчас!

Ночью листовки разбросали по Росстани, часть наклеили на заборы, а сёстры-близняшки вообще подвиг умудрились совершить – одну листовку наклеили на дверь полицейской управы, чтобы начальнице было чем полюбоваться, вторую – на столб около комендатуры. К самой комендатуре подойти не удалось – там маячил часовой.

Утром Шичко собралась устроить разнос своим подчинённым – одну из листовок ей положили на стол, – но не успела, примчался переводчик коменданта.

– Мадам, вас вызывает шеф, – запыхавшись, сообщил он, подышал на покрасневшие пальцы. – Холодно в вашем краю.

– Не холоднее, чем в вашем, – сдвинула губы в улыбке начальница полиции. – Герр гауптман – злой?

– Не могу сказать, что настроение у него благодушное, скорее… – Переводчик замялся, подбирая нужное слово, вновь подышал на пальцы.

– Скорее, хреновое… Так?

– Так, мадам.

– Это связано вот с этим? – Она двумя пальцами, будто препарированную лягушку, подняла листовку, лежавшую перед ней на столе, встряхнула.

– Может быть, – неопределённо отозвался переводчик и, тяжело шаркнув ногами, исчез из кабинета.

Шичко глянула ему вслед осуждающе – и отчего это мужик не научится легко ходить, – со вздохом стала собираться к гауптману.

У гауптмана на столе тоже лежала листовка, написанная на тетрадочной страничке в клеточку красивым девчоночьим почерком. Когда начальница полиции вошла к гауптману, тот даже не поднялся со стула, хотя всегда старался быть вежливым. Нажав на кнопку звонка, пригласил в кабинет переводчика. Шичко поняла, что словарного запаса, который знают она и гауптман, для объяснения будет недостаточно. Похоже, дело пахнет керосином… Шичко запоздало вскинула руку к меховой чёрной шапке, украшенной длинным прямым козырьком:

– Герр комендант!

– Герр, герр… – зло пробурчал комендант. – Я с утра был герром, – прозвучало это у него неприлично, – и вечером

буду герром, а вот как насчёт вас – не знаю.

Шичко выпрямилась:

– Как скажете, так и будет, герр гауптман.

Комендант ткнул пальцем в листовку – звук получился громкий, будто палец у него был деревянный.

– Что это? – Комендант колюче глянул на начальницу полиции. Шичко благоразумно промолчала. – Молчите? Ладно… Чтобы найти тех, кто это написал, даю вам три дня.

– Три дня мало.

– Росстань – посёлок небольшой, чтобы найти этих неразумных школьниц, – он снова ткнул деревянным пальцем в листовку, – одного дня хватит… А я слишком щедрый, даю вам целых три – это очень много времени!

Вот такой неприятный состоялся разговор.

– Идите и выполняйте! – сказал на прощание комендант.

«Школьницы, неразумные школьницы… А ведь наводку он дал правильную, – подумала Шичко, выйдя на крыльцо комендатуры, потуже натянула на руки перчатки. Ветер остудил её погорячевшее лицо, она стала лучше соображать. – Это делают школьницы, учащиеся… Скорее всего, действительно девчонки. Почерк, которым написаны листовки, – детский. Даже молодые доярки уже так не пишут. Со школы и надо начать поиск». Она решительно сбежала с крыльца вниз и, скрипя стеклисто снегом, понеслась в управу – надо было спешить, слишком мало времени ей дал герр гауптман…

– Жень, а нас не накроют немцы в этом лагере? – спросила Наденька мужа, с трудом разглядев во влажной темноте землянки его лицо. Лампа была погашена – берегли керосин.

Чердынцев сидел на лавке, свесив тяжёлые, натруженно гудящие руки к босым ногам, и что-то обдумывал, спать ещё не ложился.

– Не накроют, – ответил он Наденьке. – Прохода в болоте они не знают, а там, где можно пройти, стоят мины. Они, конечно, могут подсуетиться и вызвать летунов, чтобы разбомбить нас с воздуха, но и это непросто – лагерь с неба разглядеть трудно. Но ты правильно опасаешься – а вдруг? Поэтому я уже отправил на поиск опытного умельца, чтобы он подыскал нам место для запасного лагеря где-нибудь километрах в двадцати отсюда. Только вот… – Голос Чердынцева сделался озабоченным, лейтенант умолк, шевельнул кистями рук, наполненными тяжёлым гудом, и застыл снова.

– Чего – вот?

– Должен был человек этот, по фамилии Фабричный, вернуться ещё вчера, но он не вернулся…

– Может, в снегах застрял где-нибудь, а может, ушёл дальше, чем нужно было…

– С ним были ещё двое, тоже опытные, тоже не вчера родились… Уж могли бы втроём сообразить, что к чему, повернуть назад, если слишком далеко ушли или отклонились в сторону, выдернуть друг дружку из снега, коли завязли в нём… Тьфу!

– Не нервничай, Жень. Всё будет в порядке, главное – терпение.

– Вот чему я хорошо обучился, пока отступал от границы, так это терпению.

– Ложись спать.

– Да мне всё равно через полчаса вставать придётся – надо проверять посты.

– Мерзляков сделать это не может?

– Может, но Мерзлякову – Мерзляково, а мне – моё! – Хоть и возражал Чердынцев жене, а приглашение принял – притулился рядом с нею на краю топчана.

– Жень, а Жень, – прошептала едва слышно Наденька, обняла мужа одной рукой, притянула к себе.

– Ну?

– Ты знаешь… – Наденька задышала неожиданно часто, счастливо. – Ты знаешь… у нас, кажется, будет ребёнок.

– Ну-у-у… – Чердынцев вскинулся в темноте, прижал к себе жену. – Вот это здорово! – Он ошалело покрутил головой. – Только мальчика, пожалуйста… А?

– Не знаю, Жень. Это как получится.

– Мальчика, мальчика, мальчика! – Чердынцев поцеловал жену, потом поцеловал снова. Соскочил с топчана на пол, зажёг лампу – неровный жёлтый свет затрепетал, задвигался нервно по стенкам землянки, кое-где укреплённым для прочности (и для уюта тоже) ошкуренными жердями. Чердынцев вновь переметнулся на топчан. – Только мальчика,

Надюш!

Наденька улыбнулась снисходительно: если бы можно было узнать, кто родится, мальчик или девочка? Но нет таких аппаратов, которые загодя, ещё до рождения, определяют, мальчик будет или девочка, когда-нибудь они, может, и появятся, а сейчас их нет, человечество ещё не изобрело… Чердынцев схватил Наденькины руки, подышал на них, потом прижал к губам пальцы. Выдохнул едва слышно:

– Ох, Наденька! – Встревоженно вгляделся в неё. – Ты не застыла?

– Нет. А что?

– Пальцы у тебя холодные. Пять тоненьких симпатичных ледышек на одной руке и пять тоненьких симпатичных ледышек на другой… Потому и спрашиваю. Дай, я их ещё погрею. – Он вновь поднёс Наденькины пальцы к губам, подышал на них. – Если бы мы были в Москве – отметили бы шампанским.

– Мы и здесь можем отметить. У меня есть медицинский спирт.

– Нельзя. Я командир, а ты… Выпивка может повредить сыну.

– В таком возрасте – нет.

Чердынцев снова лёг рядом с Наденькой, затих. Ощущения, которые он испытывал сейчас, ранее ему не были знакомы, он никогда не испытывал такого – это была смесь радости, внезапно нахлынувшей заботы, восторга, тревоги и ещё

чего-то, очень сложного.

– Наденька, – прошептал он, в темноте нашёл её руку и опять прижал её к губам, потом прошёлся по каждому пальчику в отдельности, подышал на них теплом. – Пусть пальцы согреются быстрее. Давай вторую руку.

Наденька протянула ему вторую руку. Неожиданно Чердынцев услышал лёгкий, совершенно невесомый, неощущаемый и неслышимый всхлип.

– Ты плачешь? Что с тобой? – Чердынцев встревоженно приподнялся. – Что случилось?

– Не знаю… – Наденька снова всхлипнула, прижалась к мужу. – Наверное, от радости. Думаю, каждая женщина, впервые в жизни узнав, что у неё будет ребенок, плачет. Наверное, так…

– Наденька! – вздохнул Чердынцев нежно, он не знал, что надо говорить в таких случаях, да и вообще существуют ли подходящие для этого слова, скорее всего, нет, опять подышал на пальцы жены – ему хотелось, чтобы она всегда чувствовала себя с ним надёжно и вообще была за Чердынцевым, как за каменной стеной. – Надюша! – Шепот его сделался благодарным и – он сам услышал это – беспомощным.

Он не знал, чем подсобить, как оградить от войны крохотного младенца, у которого и разума ещё, наверное, нет, он ничего не смыслит, но всё понимает и всё чувствует. Чердынцеву сделалось страшно – даже колючие мураши по коже побежали. Страшно за малыша, который ещё не увидел

света, за Наденьку – вдруг с ними что-то случится? Ведь всё-таки это – война, партизанский отряд. И не просто отряд, который сидит где-нибудь в болоте да из-под снега мороженую клюкву выкапывает, радуется каждому мёрзлому грибу – хорош будет в супе! – а отряд воюющий.

Худо-бедно, а диверсии на железной дороге имеются, счёт открыт, Бижоев готовится к очередной, маленький солдат тоже готовится – понравилось ему это дело, да и в прикрытии никто лучше не сработает… Чердынцев откинулся на спину, затих.

Они лежали рядом, лейтенант и Наденька, и молчали. Но как много было сокрыто в этом молчании – такое молчание бывает гораздо содержательнее и говорливее самых красивых и убедительных речей.

Было слышно, как наверху над накатом землянки завывает зимний ветер – пронесётся над землёй с самолётной скоростью, упрётся в стенку деревьев, о которую зубы обломать может кто угодно, не только злой и глупый ветродуй, и, раздосадованный, с хрипом и воем мчится обратно, да ещё слышен голодный голос волков. Волки, поселившиеся на болоте, не уходят отсюда, ничто их не пугает… Значит, есть причина.

– Наденька, – едва слышно, почти не шевеля губами, прошептал лейтенант, других слов он сейчас не знал, все слова, кроме имени жены, исчезли в эту минуту, он думал, что жена не услышит его, но она услышала, прижалась к Чердынцеву

лёгким, почти невесомым телом.

– Господи, – прошептала она так же, как и Чердынцев, едва различимо, не разжимая губ.

– Наденька!

– Как хорошо, что ты у меня есть.

Чердынцев благодарно коснулся губами её волос, потом вновь поцеловал пальцы.

– Я всё никак не могу поверить в то, что мы вместе, что ты и я – одно целое, что всё происходящее – явь, а не сказка. С другой стороны, когда идёт война, какая может быть сказка? На войне сказок нет, плохо всем – и своим, и чужим…

Наденька вздохнула – она тоже успела познать, что такое война.

Фабричный пришёл утром – последнюю ночёвку со своими напарниками провёл среди волков, на дальнем краю болота, на опушке соснового бора, километров семь оставалось пройти, а идти Фабричный не решился, боялся в темноте заплутать.

Нос у Фабричного был обморожен – облупился, почернел, блестел, словно лаковый. Фабричный свёл к носу глаза и проговорил виновато:

– И на старуху, случается, нападают дождевые червяки, товарищ командир!

Чердынцев пожал ему руку.

– С возвращением! Остальные как, все целы? Не поморозились?

– Малость есть. Уж больно дедушка вызверился – кроме меня ещё один боец пострадал. А в остальном всё путём, в порядке.

– Почему задержались?

– Да увлеклись. Нашли три места для запасного лагеря. Два места хорошие, одно – очень хорошее.

– По карте показать можете?

– А как же! Само собою разумеется.

Конечно, на местности, среди снежных топей, в нагромождениях сосновых завалов, в гнетущем однообразии здешних ландшафтов Фабричный разбирался лучше, чем в самой понятной, доходчиво составленной карте, поэтому бывалый человек мигом вспотел, прислонил к облупленному носу какую-то серую от грязи тряпицу, промокнул розовый, пропитанный сукровицей пот, перевернул карту вверх ногами, потом возвратил в прежнее положение.

– Дык… дык… – Фабричный ткнул пальцем в синюю извилистую бечёвку, словно бы прилипшую к зелёному полю карты. – Это река наша? Тишка?

– Точно так, Тишка.

– От Тишки мы старались не удаляться, река была для нас привязкой. – Фабричный вспотел ещё больше, промокнул нос тряпочкой, по лбу прошёлся рукавом, повздыхал немного и в конце концов обвёл указательным пальцем кусок зелёного пространства. – Вот тут это.

– Все три места?

– Нет, только одно, самое лучшее, а два – чуть дальше.

– Немного дальше?

– Одно примерно на пять километров, другое – на семь.

– Тоже рядом с рекою?

– Рядом с рекою, товарищ командир. Река ведь для нас – и кормилица, и поилица, и защита надёжная, этого мы не забывали ни на минуту.

– Ну что ж, дядя Коля, через пару дней, когда малость оклемаетесь, пойдём смотреть… Добро? – Поймав утвердительный взгляд Фабричного, лейтенант усомнился в сроке и спросил: – Двух дней, чтобы оклематься, хватит?

– Думаю, хватит.

– Подойдите к комиссару, он вам нальёт по сто пятьдесят.

– Без вашего распоряжения?

– Распоряжение он уже получил.

Фабричный потоптался ещё немного, привычно вытер нос тряпицей и хотел было исчезнуть, как командир вновь обратился к нему:

– Дядя Коля, загляните к Надежде Ивановне, она вам какую-нибудь примочку или мазь от обморожения выдаст.

Фабричный скосил глаза на свой нос и пробормотал виновато:

– Да я на ночь погуще подчерёвочным салом смажу – к утру совсем другой коленкор будет. А за два дня вообще всё исчезнет, новая кожа вырастет. Пойду я… – Фабричный неуклюже, задом выбрался из командирской землянки, при-

поднял дверь, чтобы не скрипела – и она действительно не заскрипела, – потом также беззвучно прикрыл её.

Нужной мази у Наденьки не нашлось, она, как и все остальные, уверовала в подчерёвочное сало – лучшего снадобья, мол, нету, если только медвежий жир, но где возьмёшь медведя, здесь же не Сибирь, – поэтому Фабричный со своей командой с удовольствием хлопнули по сто пятьдесят водки, закусили тушёнкой, вывалив её из банок на алюминиевые немецкие тарелки, которыми партизаны обзавелись благодаря разведчикам, запили ужин чаем, наштукатурились подчерёвочным салом и улеглись спать.

Сало это они, конечно, брали с собою, но на морозе, при бестолковых лесных ночёвках, когда ночь приходилось коротать и под ёлкой, зарывшись в палую хвою, и под вывернутым дубовым корнем, и в яме, прикрывшись сверху лапником, чтобы было не так холодно, всякие процедуры да намазывания не помогали, носы всё равно норовили облупиться, как созревшие кукурузные початки, а вот дома, в тепле, подчерёвочное сало помогло очень даже.

К утру красный, лаково поблескивающий нос Фабричного перестал сочиться сукровицей, подсох и несколько увеличился в размерах. Наденька осмотрела дядю Колю и сделала вывод:

– Дело идёт на поправку.

– Так оно и должно быть. Через пару дней всё заштукуется. Как на собаке.

Не привык дядя Коля, чтобы с ним нянчились, как с дитятей в изнеженной семье, хотел было уйти, но Наденька сделала жест ладонью, придавливая партизана к скамейке, проговорила командным тоном:

– Поражённые места смазывать каждые четыре часа. Понятно?

– Да чего на меня продукт изводить – его и так мало осталось. Другим понадобится.

– Для других, если потребуется, ещё достанем. Кто с вами был ещё, дядя Коля, давайте их сюда!

От врачихи вышли наштукатуренные салом все трое, несколько ворон, поселившихся в лагере, проводили партизан завидущими глазами и, пока те не скрылись в землянке, возбуждённо щелкали клювами – очень уж вкусный запах исходил от этих людей.

А начальница полицейской управы устроила тем временем просеивание населения райцентра, совмещённое с проверкой на лояльность к германской власти, ей очень надо было узнать, кто же мог написать и распространить листовки.

В конце концов она оставила в списке двадцать четыре человека – двадцать одну девчонку и трёх пареньков, – в большинстве своём почерк на листовках был очень уж девчоночьим, ученически правильным, ровным, несколько же листовок, как разумела Ассия Робертовна Шичко, были написаны кем-то из мальчишек – слишком небрежно они были исполнены.

У неё, у начальницы полиции, те дни были не только заботами заполнены, но и радостью – с запада откуда-то, то ли из Белоруссии, то ли того дальше, из Литвы или Латвии, приехал её отец – сухой, тощий, прямой, как оглобля, мужчина с чёрной, без единой седой прядки шевелюрой и крупным, похожим на гигантский орлиный клюв носом.

Дочка по случаю приезда родного папеньки своим подчинённым даже послабление сделала – и кричала на них меньше обычного, и каждому определила по два выходных дня, чтобы отдохнули да в бане помылись… Но о деле своём главном, которое комендант держал на контроле, не забыла, согнала ребят, которых оставила в своём списке, в пустую холодную школу – новые власти возобновлять занятия в ней не думали, – рассадила их по партам, у дверей поставила двух полицаев с винтовками, чтобы никто не вздумал убежать из класса.

Небрежной походкой, будто заправская учительница, прошлась вдоль рядов, оставляя на каждой парте по выдранному из обычной школьной тетрадки листку, рядом клала карандаш, затем встала перед классом около доски и, оглядев всех, начальственно качнулась на ногах.

– Ну что, юные преступники, вздумавшие воевать с Великой Германией? Дураки вы, и родители ваши дураки… – Она вытянула шею, прислушалась к вою ветра, раздающемуся за окном. – Вверху на листках напишите свою фамилию и имя…

Начальница полиции выждала с минуту, привычно качнулась на ногах, с пятки на носок и обратно. Тишина в классе стояла такая, что было слышно, как у этих ребятишек под телогрейками бьются сердца. Начальница молчала. Ребята тоже молчали.

Напряжение росло, будто перед вынесением приговора. Шичко понимала это и улыбалась презрительно, холодно, потом достала из кармана свёрнутую в несколько долей бумагу, встряхнула её в руке.

Это была листовка.

– Пишите, – сказала Шичко, усмехаясь, – писатели! – Прочитала громко, с выражением: – «Дорогие товарищи земляки, граждане райцентра! Поднимайтесь на беспощадную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами, мстите за каждого убитого советского человека, гоните врага прочь с родной земли!» Написали? – Шичко прошлась вдоль парт, заглядывая в тетрадочные листки: кто-то, особо не задумываясь над тем, что произойдёт дальше, написал, кто-то, наоборот, испуганно сжался, притих и даже не коснулся карандашом бумаги – за такие слова ведь не помилуют… Было страшно.

Красивое лицо начальницы полиции побледнело, сделалось незнакомым, она поправила перчатку на правой руке, поплевала в неё, потом со всего маху ударила кулаком по затылку невысокую худенькую девчонку с двумя косичками волос, брошенными на спину. Девчонка вскрикнула и уда-

рилась лицом о парту.

Из носа и рассеченной брови у неё потекла кровь.

– А ты почему ничего не написала, сучка малолетняя?

Плечи у девчонки затряслись в беззвучном плаче, она, брызгаясь кровью, замотала головой – ошалела от боли. Шичко, боясь, что капли крови запачкают её одежду, поспешно отскочила в сторону, выругалась.

Следующий удар кулаком она нанесла пареньку, который явился в школу без шапки, шапки у него не было, на голову в виде неряшливой женской нахлобучки был натянут старый вязаный шарф; робкий паренёк этот так и не притронулся к карандашу и тетрадочному листку. Удар оглушил его – паренёк, не издав ни звука, в одно мгновение очутился под партой, в тесном пространстве.

Начальница полиции, даже не глянув на него, поправила перчатки на руках и проследовала вдоль ряда дальше, заглядывая в листки. Через несколько мгновений последовал ещё один лихой удар, за ним – испуганный вскрик и падение разом обмякшего, сделавшегося неуправляемым тела на пол.

Остановившись у доски, бывшая фельдшерица развернулась лицом к классу и брезгливо дёрнула ртом.

– Подберите вот этих… – Она небрежно ткнула перчаткой в поверженных ребят. – Диктую снова. Если кто-то не напишет и в этот раз – обижаться будет на самого себя. Понятно?

Полицаи, стоявшие у двери, переглянулись – похоже, будет работёнка и по их части. Спустить штаны с худосочного

паренька и вломить ему по чреслам по первое число, чтобы память осталась на ближайшие пятнадцать лет, это они умели делать, а ещё лучше – содрать трусишки с какой-нибудь девчонки и тоже вломить… Это даже ещё лучше, девчонка – не мальчишка, тут и по иной части может кое-что обломиться… Ха-ар-рашо!

– Диктую снова, олухи, – раздражённо проговорила начальница полиции. – Те, кто зевнул, не написал – пишите, те, кто написал, напишите ещё раз. Дубьё деревенское! – В голосе Шичко прозвучало нескрываемое презрение. – «Дорогие товарищи земляки, запятая, граждане райцентра, восклицательный знак».

Стоявшие в дверях полицаи снова переглянулись – понимали, что сегодня обязательно будет работёнка… Правильно поступает Ассия – пора показать этим малолетним тараканам и их родителям, кто в районе хозяин.

Начальница полиции собрала исписанные листки, велела задержанных школьников запереть в соседнем классе (там на окнах стояли железные решётки, когда-то в том классе располагался военный кабинет, запах оружейной смазки, которая была обильно нанесена на стволы старых дырявых винтовок, сохранился до сих пор, из-за решёток кто-либо из этих огольцов вряд ли вылезет), сама ушла в управу изучать написанное.

Через три часа она вернулась в школу, велела остаться пятерым, в том числе близняшкам Вете и Вике Проценко,

пятёрку эту увести в полицию, остальным же выдать для острастки по паре плетей и прогнать домой.

Угостить плетями малолеток было для полицаев удовольствием – райцентровскую ребятню они не любили: слишком уж с откровенным презрением те относились к людям, пожелавшим надеть немецкую форму, – исполнив приказ, полицаи прогнали всех домой, а пятерых задержанных перевели в управу и заперли в подвал. «Служебное» помещение это за многие годы сделалось сырым, отчаянно пахло клопами и крысиным помётом.

Клопов в подвале, правда, не было, а вот крысы имелись в изобилии – в сумраке усатые пасюки выползали из нор, нюхали воздух, не пахнет ли где съестным, потом по земляным и прочим ходам направлялись в другие помещения – ходы эти уводили их куда угодно, вплоть до чердака, оружейной комнаты и кабинета начальника полиции.

Через сутки Шичко доложила коменданту:

– Подпольщики, распространявшие листовки, найдены.

Тот вскинул одну куцую бровь.

– Кто же это?

– Вы были правы – обыкновенные школьники, имеющие тупых, враждебно настроенных к великому фатерлянду родителей.

Комендант опустил бровь, поморщился недовольно.

– Дети-и… А Германия с детьми не воюет. Это вы, русские, можете воевать с детьми, а мы, немцы, – нет.

– Вы не знаете этих детей, герр гауптман, – заводясь и повышая голос, проговорила Шичко, – эти дети умеют убивать лучше взрослых.

Комендант снова вскинул бровь и почесал её пальцем.

– Мы с вами не понимаем друг друга.

– Ну почему же… – Начальница полиции испугалась: а вдруг комендант изменит о ней своё мнение? – Понимаем, понимаем… Просто я русских детей знаю лучше.

– За детьми всегда стоят взрослые, вы же сами сказали, – наставительно произнёс комендант. – Ищите их! Они должны быть.

– Й-йесть искать! – Шичко вытянулась, щёлкнула каблуками.

Конечно, привязать взрослых к листовкам будет сложнее, взрослые начнут юлить, вертеться и всё отрицать, но не на ту напали они – Ассия Шичко выведет их на чистую воду. Войдя в свой кабинет, она приблизилась к зеркалу, висевшему на стенке в углу, глянула на собственное отображение – оно понравилось ей, Шичко подмигнула молодому красивому лицу…

Плохого настроения, оставшегося после разговора с комендантом, как не бывало, она села за стол, выгребла из ящика несколько листовок, которые удалось собрать в Росстани, затем достала тетрадочные листы, заполненные под её диктовку ребятнёй.

Она найдёт взрослых, которые укрываются за этими

огольцами, отыщет, в какую бы потайную щель те ни заползли… Гауптман будет доволен.

Она просидела до двенадцати часов ночи и поняла, кто стоит за деятельностью этих райцентровских дурачков. Приказала привести к ней сестёр-близняшек, Вету и Вику. Пока сестёр извлекали из подвала, снова подошла к зеркалу, потянулась сладко.

Фигура у неё была всё та же, что и несколько месяцев назад, – девчоночья, тонкая, гибкая, и лицо всё то же, юное, хотя в уголках рта уже возникли, врезались в кожу две горькие морщинки-скобки. Ну словно бы ещё вчера она тоже была школьницей, сидела за партой, грызла немудрёные науки, которые положено одолеть всякому десятикласснику, потом были фельдшерское училище и комсомольский призыв в Красную Армию, на зов этот громкий она и клюнула, пошла – нравились ей армейская форма, пилотка, посаженная на густые волосы, – только не думала она, что так скоро начнётся война. Война всё смешала, жизнь сделала такой ошеломляющий зигзаг, что она ни в яви, ни в одури предположить не могла. Отсюда и морщинки-скобки… Хорошо, что хоть слёз они не вызывают.

В дверь раздался небрежный грубый стук, и грузный одышливый полицай с отёкшими слезящимися глазами швырнул в кабинет двух девочек. Они покорно распластались на полу и, боясь подняться, лежали, вывернув головы и глядя на начальницу полиции побитыми, украшенными си-

няками глазами.

Та помяла пальцами скобки около губ и, отвернувшись от зеркала, ощутила, что внутри у неё вскипает злой огонь. Взмахнула кулаком.

– Вста-ать! – Голос у неё не выдержал, надорвался, обратился в петушиный крик. Девочек испугал не сам крик, не злобный вид начальницы полиции, испугала эта самая фистула и ещё осознание того, что такие люди, как Шичко, не прощают свидетельств своей слабости – не себе самим не прощают, а тем, кто увидел это. Вета и Вика поспешно поднялись.

Шичко стиснула пальцы в кулак и ловким ударом – натренировалась – сбила с ног Вету. Та молча покатилась по полу и беспомощно растянулась в углу. Потом сбила Вику. Удар у этой тонкой красивой женщины был мужским.

– Вста-ать! – вновь резко и, как и минуту назад, срываясь на фистулу, прокричала Шичко.

Первой поднялась Вета, по лицу её текла кровь.

– Вста-ать, кому сказали! – не отрывая глаз от лежащей Вики, прокричала Шичко, Вету она словно бы и не видела.

Вика с трудом поднялась с пола.

– Кто у вас была самая любимая учительница? – Голос Шичко снова сорвался на петушиный фальцет, истончился, словно глотку у начальницы полиции перетянули петлёй. – Как её зовут?

Размазывая по лицу слёзы и кровь, Вика заплакала.

Через два дня смотреть место для запасного лагеря ушли четверо – сам Чердынцев, Фабричный, маленький солдат, который настоял, чтобы его взяли в этот поход – никто, мол, лучше разведчиков не сможет обследовать все подступы к лагерю и определить, удачно выбрано место или нет, и Еременко, набравший в разведке очки – ныне Ломоносов, если куда отлучался, оставлял вместо себя Еременко. Это уже был не тот жиглявый, похожий на мальчишку солдатик, который когда-то конвоировал Чердынцева к шалашу старшего лейтенанта Левенко. Да, собственно, и Чердынцев был уже не тот, что когда-то покорно топал под дулом автомата неведомо куда, сегодня он, не раздумывая, вырвал бы автомат из рук и оглушил бы любого, кто вздумал его задержать, огрел бы кулаком по темени и сиганул в ближайший куст. Жизнь, в общем, идёт, народ мужает, у молодых начинают серебриться виски.

Перед тем, как выступить из лагеря, Чердынцев собрал команду, чтобы оглядеть каждого, понять, все ли готовы выступить, особенно это касалось Фабричного, ещё вчера косившего глаза на свой помидорный нос, косоватость эта ещё не прошла, зрачки так и норовят слипнуться друг с дружкой, а вот нос, тот был в полном порядке, блестел сально – можно было снова соваться на мороз.

Оглядев подопечных, Чердынцев остался ими доволен, спросил у Ерёменко:

– Ну, какой сюрприз ты нам обещал?

Ерёменко бегом помчался в землянку разведчиков. Через несколько минут приволок оттуда четыре пары широких финских лыж, на которых было удобно ходить по сыпучему снегу, Фабричный не выдержал, восхищённо присвистнул.

– Вот это да! – Голос у него сделался звонким от восторга: Фабричный когда-то баловался лыжами, принимал участие в соревнованиях, организуемых Осоавиахимом, кружками ворошиловских стрелков и обществами содействия армии, подхватил пару лыж и с видом знатока стал общёлкивать её, обстукивать крепким прокуренным ногтём. – Вот нам чего не хватало в прошлый раз!

– В прошлый раз лыж не было, их только вчера добыли в Тишкине – отняли у полицаев.

На лыжах стояли ременные крепления с пряжками, их можно было раздвигать в разные стороны и подогнать под любую обувь – и на узкие изящные штиблеты натянуть, и на громоздкие катанки, и на меховые унты… Фабричный закончил обследование, поцокал восхищённо языком:

– Ни одной трещинки!

Ерёменко подмигнул своему начальнику – маленькому солдату:

– Как и положено!

Через несколько минут покинули лагерь. Фабричный всё никак не мог успокоиться, вздёргивал голову довольно и в такт движению бормотал:

– Да с этими шустрыми вездеходами мы в три раза быст-

рее обернёмся!

Чердынцев молчал – смотрел, как под лыжи с твёрдым аппетитным хрупаньем уползает серое крупчатое одеяло, спекшееся от недавнего мороза, хрупкая корка под тяжестью лыжников проламывалась, трещала, треск этот колол уши, вызывал внутреннее беспокойство, которое лейтенант старательно давил в себе, как давил и возникающее вместе с беспокойством раздражение – ещё не хватало выказывать свою слабость перед подчинёнными. Иногда на губах у него появлялась отстранённая улыбка – он вспоминал Наденьку, и в висках у него возникало невольное тепло, да ещё горло сдавливало что-то сладкое, щемящее… Была бы его воля – никогда бы не разлучался с ней. Но такое можно допустить, только когда нет войны…

Война, к сожалению, разводит людей, расшвыривает их в разные стороны, и нет, кажется, такой силы, которая могла бы справиться с войной…

Двигались они сторожко, опасаясь наскочить на какой-нибудь немецкий отряд, вылезший в леса, чтобы сразиться с партизанами либо дровишек себе нарубить… Впрочем, насчёт дров фрицы не дураки, сами ломаться не будут, пошлют полицаев либо местный люд под командой какого-нибудь горластого надсмотрщика, а вот насчёт борьбы с партизанами – тут немцам деваться некуда, начальство на них жмёт… В общем, к вечеру почти добрались до места – нескольких километров не дотянули, лыжи помогли очень, ходить на них

по лесу – милое дело, особенно там, где нет завалов, – заночевали в снегу, в глубоком сугробе. Разрыли его, на дно настелили еловых лап, развели костёр, в котелок набили снега и приготовили себе чай.

– Подъём – на рассвете, – объявил Чердынцев, укладываясь спать. – Как только посветлеет чуть, пойдём дальше.

Он долго не мог уснуть, лежал на спине, глядя в чёрное небо широко распахнутыми глазами и слушая шум елей. Думал о Наденьке. Конечно, если бы имелась возможность, он бы немедленно отправил её из отряда в Москву – ребёнка, который бился у неё под сердцем, надо было во что бы то ни стало сохранить. Чердынцев, ещё не видя его и не зная, кто появится на свет, мальчик или девочка (Наденька тут права), уже заранее любил малыша, наполнялся гордостью и счастьем, видел себя тетешкающим ребёнка – подкидывал его и ловил, подкидывал и ловил, – радовался, слыша возбуждённый его смех. Слышать смех своего ребёнка – разве может быть что-нибудь значительнее в жизни, чем это?

Наверху, над ямой, с вкрадчивым скрипом пронёсся ветер, стукнулся в ствол одного дерева, другого, расшиб себе лоб и сконфуженно утих. Отдышавшись и придя в себя, ветер вновь устроил пробежку по снежным завалам, подгрёб остатки того, что плохо лежало на поверхности сугробов, снова врезался в какой-то уж очень толстый ствол, свалился вниз, к корням, и опять затих, оглушённый. Через несколько минут очнулся, заскрипел, зашуршал, засипел, приподнялся

над землёй.

Под шум ветра Чердынцев и уснул. Спал чутко, часто просыпался. То вдруг хруст снега неподалёку засекал – на хруст он высунулся из ямы с автоматом наизготовку и несколько минут сторожил ночь, то его буквально приподнимал над лапником неожиданный выстрел – оглушающе громкий, похожий на пальбу полкового миномёта, – и Чердынцев лежал тогда с открытыми глазами, пока до него не доходило, что выстрел издало располовиненное дерево – ствол лопнул от мороза… Ночи в таких походах всегда бывают тревожными.

Поднялись, когда до рассвета оставалось ещё часа полтора, оживили костёр, поставили на него чёрный от чада котелок.

– Через два часа обязательно будем на месте, – заявил дядя Коля Фабричный, громко отхлёбывая кипяток из кружки, у Фабричного своя заварка, цветочная.

– Вроде бы раньше должны быть, – проворчал маленький солдат. – Ты говорил, что раньше придём…

– Не-а. Не говорил я тебе, Ваня, этого, – отмахнулся Фабричный от начальника разведки, – говорил другое, но не это.

– Отставить разговорчики! – скомандовал Чердынцев. – Ещё не хватало поссориться! – Выглянул наружу, осмотрелся.

Деревья стояли плотной чёрной стеной, слипшись друг с другом. Пока стена эта не разредится, не станет прозрачной, идти нельзя – легко можно поломать лыжи либо, хуже того,

ноги.

– Можно ещё испить чайку, – предложил Чердынцев, – дальше уже не до чаёв будет.

– Чай – не водка, товарищ командир, много не одолеешь. – Фабричный рассмеялся дробно, в следующую минуту он словно бы застеснялся слов своих – наверное, так оно и было, поскольку дядя Коля тут же отвёл глаза в сторону.

Всё-таки отношение у пожилых людей к командирам не то, что у молодых: в пожилых прочно сидит прошлое, им памятна жизнь при царе, ещё дореволюционная, когда количество звёзд на погонах почиталось особо и всякий рядовой солдат очень сосредоточённо внимал офицеру, поедал его глазами, ни в чём не перечил, а уж чтобы произнести какую-нибудь неуклюжесть, как это сделал Фабричный – нини… Но если уж произнесёт случайно – под землю бывает готов потом залезть от смущения. Молодым же это несвойственно.

Серая пятнистая мга отрывалась от снега неохотно, клочьями, прилипала, словно бы наштукатуренная клейстером, в посветлевшие прогалы были видны стволы деревьев, обмахрённые окостеневшим мёрзлым снегом, когда прогал затягивало утренней дымкой, стволы исчезали вновь, но вот наступил момент, когда прогалы перестали затягиваться, и Чердынцев объявил:

– Можно идти дальше.

С места взяли хорошую скорость, завалов не было, снег

держал лыжи прочно, руки-ноги за ночь отдохнули – хорошо!

До места добрались без приключений и, главное, уложились в два часа, как и обещал дядя Коля. Фабричный сошёл с лыж, воткнул их стоймя в снег, обвёл рукой заснеженное неровное пространство и произнёс коротко:

– Вот!

Октябрину арестовали утром – на улице ещё темно было, тяжёлое рябое небо низко висело над землёй, по единственной расчищенной улице райцентра мела позёмка, затыкала липкой порошей все щели и норы, заползала под дома, плотно забивала опустевшие собачьи конуры, запечатывала подкрылечные пространства – в общем, бабушка-зима работала, нагоняла в души людей уныние и злость, кого-то вообще умудрялась скрутить в бублик, подмять тоской, но фокус этот проходил не со всеми. Октябрина только что проснулась и собиралась затопить печку, когда на крыльце затопали тяжёлые сапоги. Бабушка Вера, которая ещё с ночи чувствовала себя неважно, обеспокоенно приподнялась на своей постели.

– Кого это там черти несут?

Действительно, людей этих могла принести только нечистая сила. Первым в дверь всунулся старший полицай Федько – личность, в районе известная, бывший командир Красной Армии, окруженец, так и не вышедший из окружения, на полпути осевший в райцентре у одной сдобной вдовушки

и поступивший на хлебную службу к немцам. За Федько в двери появились ещё двое полицаев.

– Эй, учителка! – окликнул Федько Октябрину. – Собирайся, с нами пойдёшь.

У Октябрины под сердцем возникло что-то больное, дыхание перехватило, но она быстро справилась с собою, спросила спокойно:

– Зачем?

– В управе узнаешь, зачем… Собирайся!

В голове у Октябрины мелькнула мысль, до ненужного чужая, мелкая: а не убежать ли? На улице растолкать полицаев и шмыгнуть за дома, за сараи – мужики эти её всё равно не догонят, дыхание у них спёртое. Прокуренное, выхлоп такой, что без закуски устоять на ногах невозможно: пьют эти люди беспробудно, словно бы пожар внутри себя заливают, пытаются помочь сами себе, но ничего у них не получается. Так что догнать им её не дано. Конечно, они стрелять в неё будут. Из винтовок, из пистолетов. Автомата у них нету, а из винтовки они в неё не попадут. Во-первых, на улице ещё темно, во-вторых, глаза у них после самогонки кривые, они не то что в бегущую цель не угодят – они даже если в самих себя будут стрелять и то промахнутся. В следующий миг Октябрина отогнала от себя мысль о побеге, ведь арестованы её девочки, она не может их бросить.

Бабушка Вера продолжала лежать на кровати, онемевшая, наполовину мёртвая, она с нескрываемым ужасом смотрела

то на полицаев, то на Октябрину, подбородок у неё мелко, расстроенно подрагивал, глаза влажно блестели.

– Бабушка Вера, – шепнула ей Октябрина – говорить в голос не решилась, побоялась, что голос сорвётся, – ты не горюй… Я вернусь.

Подбородок у старухи затрясся ещё сильнее, она попыталась что-то сказать, но не смогла – так неожиданно и быстро ослабела, – лишь всхлипнула зажато, тихо, будто мышка, она видела и ощущала то, чего, может быть, не видела и не ощущала Октябрина: вряд ли уже жиличка вернётся в этот дом…

Хоть и не сумела она ничего сказать, а вот руку из-под одеяла вытащила, перекрестила Октябрину. Из влажных глаз её потекло, потекло мокро, заслонило всё на свете, бабушка Вера уже ничего не видела… Она только услышала, как заскрипела открываемая в сенцах дверь да брякнуло пустое ведро, за которое в темноте зацепился нетрезвый полицай, ругнулся полицай матом, и всё стихло.

Бабушка Вера ощутила, как тело её встряхнулось словно бы само по себе, внутри раздался тихий коростелиный скрип, бабушку Веру перекрутило, лицо её сморщилось, превращаясь в вынутое из печки коричневое печёное яблоко, и она заплакала.

Октябрину вели по улице, ещё не оправившейся от ночи, тёмной, морозной, подталкивали в спину, но она этих тычков не замечала, оглядывалась по сторонам, словно бы про-

щалась с райцентром, а может быть, и не прощалась, может быть, здоровалась, но это было возможно только в том случае, если она собиралась жить вечно. Но сельская учительница Окрябрина Пантелеева жить вечно не собиралась.

Плохо было ей. Дай Бог мужества перенести, одолеть всё, что ей уготовано. Она подумала о том, что её учили – Бога нет, но в таком разе кого просить, чтобы дал сил, мужества, – только Бога. Не комсомольское же начальство, в конце концов. Да и где оно, это начальство?

Дядя Коля Фабричный поработал на славу – вот что значит иметь опыт жизненный, его не пропьёшь, – все три места, которые он подобрал для будущего лагеря, оказались то, что надо. Остановиться пришлось, конечно, на одном – том самом месте, которое Фабричный хвалил больше всего.

Главными были старые параметры – чтобы и подойти к лагерю незамеченным было нельзя, и чтобы сверху он был прикрыт, и чтобы вода неподалёку имелась, и чтобы площадка для посадки самолёта находилась на досягаемом расстоянии, не под Брянском или Курском, и чтобы естественная защита существовала – болото, крутой береговой взъём, река или озеро, овраг, что-нибудь ещё… Чердынцев достал трофейную карту, посмотрел, чем же немцы обозначили здешнее место, каким словом. Чёрная строчка названия словно бы сама по себе выпрыгнула из-под пальца, лейтенант прочитал её вслух, раздельно, по буквам:

– Сос-ня-и-ковка… Что за Сосняиковка? Сосновка, ско-

рее всего.

Да, неподалёку от облюбованного под лагерь места находилась маленькая угасающая деревушка Сосновка, разведчики в ней даже бывали один раз, в деревне было всего пять или шесть заселённых жилых хат, больше народа в Сосновке не было.

– Ну что же, значит, назовём наш новый лагерь Сосновкой, – решил Чердынцев.

Проверили, насколько промерзла здесь земля. Оказалось – неглубоко, сантиметров на двадцать, хотя при нынешней лютой студи могла промёрзнуть глубже.

Чердынцев, узнав об этом, повеселел – мёрзлый слой они одолеют легко, а раз так, то, значит, не надо будет рвать жилы, горбатиться до обмороков при рытье землянок…

Место это очень напоминало лагерь действующий, расположенный на Тишке, тут тоже протекала река – всё та же знакомая Тишка, только здесь она была шире и располагалась чуть дальше от лагеря, и болото в окрестностях имелось – бездонное, широкое, гораздо больше того, что прикрывало их нынешний лагерь.

– Дядя Коля, ты достоин премии, – сказал лейтенант Фабричному. – Сто пятьдесят граммов сверх нормы.

– Благодарствую премного. – Фабричный церемонно, очень учтиво поклонился. Имелась в нём интеллигентная закваска, та самая, которую московский уроженец Чердынцев ценил в людях.

– И обдув хороший имеется, – отметил лейтенант на прощание, – комаров сметать в сторону будет, и сверху место хорошо прикрыто – кроны у сосен раскидистые и густые.

Наскоро попили чайку – с дымом и хвойным духом, с горящими угольками, нечаянно заскочившими в котелок – прыгуны эти добавили напитку своего вкуса, заправили чай сахаром, загрызли сухарями и отправились в обратный путь.

Думали, что дорога домой также обойдётся без приключений, ан не получилось – в лесу наткнулись на группу пленных, которые под охраной полицаев и двух немцев-автоматчиков заготавливали дрова.

– Интересно, где тут поблизости лагерь такой имеется, где содержались бы пленные? – задал себе невесёлый вопрос Чердынцев, лёжа под густой елью и наблюдая за лесорубами. Что-то ни разведчики об этом ничего не знают, ни в штабе полковника Игнатьева – оттуда ни одного намёка не поступало, даже полунамёка и то не было, и Октябрина ничего не говорила…

Неужели пленные прибыли в последние дни и сведения о них ещё не успели просочиться в народ? Интересно, интересно… Пленных было пятнадцать человек – Чердынцев пересчитал их трижды, охранников же – на немецкий манер, чтобы была кратность, – пять человек. Двое фрицев с автоматами и трое полицаев с винтовками.

Пленные работали молча, угрюмо, нехотя. Четыре человека пилили невысокие, чтобы легче было вывезти, деревья,

двое обрубали сучья, остальные готовились выволочь лесины из чащи. Поскольку ни лошадей, ни тракторишки какого-нибудь завалящего поблизости не было видно, стало понятно: эти бедолаги поволокут брёвна на себе… Жалко было людей. Чердынцев ощутил, что к щеке у него прилипло что-то щекотное, клейкое, смахнул досадливо ладонью, но невидимая налипь продолжала держаться, он понял: это нервное… Нервы, увы, ни к чёрту стали, лечиться надо. Все болезни, говорят, от нервов происходят.

Он отполз к своим спутникам, лежавшим в стороне от ели, потёр щёку снегом, желая избавиться от неприятного нервного ощущения, но снег не помог.

– Значит, так, мужики, – проговорил он свистящим шёпотом, – пленных надо освободить.

– И мы за то же, товарищ командир, – поддерживая его, произнёс Фабричный. Вооружён он был карабином. Автомата не признавал, считая его баловством, больше всего любил родную трёхлинеечку, но винтовка в походе была тяжела, поэтому он взял с собою карабин.

– Двое немцев, трое полицаев – сила невеликая, одного залпа для неё будет достаточно. Ты, Иван, – Чердынцев повернулся в сторону маленького солдата, – возьми на себя немца, который стоит справа, сонный такой мужичок, он из всех выделяется, словно бы вчера перепил бимбера, я беру второго немца, который слева, а вам, мужики… – Лейтенант дотронулся пальцами до плеча Фабричного, потом ткнул во

второго бойца: – Вам надлежит уложить полицаев… Желательно с одного выстрела, чтобы не колыхнулись. Стрелять только по моей команде, кучно. Всё ясно? На подготовку – три минуты.

Чердынцев даже ответа не стал дожидаться, и без того всё было понятно, пополз на прежнее своё место – под ель.

На площадке, где пленные топтались неуклюже, боясь попасть под падающее дерево, ничего не изменилось: немцы молчаливо мёрзли на своих местах – они даже не двигались, не хлопали привычно руками, чтобы согреться, полицаи вели себя более живо, громко покрикивали, раздавали налево-направо тумаки, один из них, высокий и тонкий, как болотный хвощ, вислоусый, рычал злобно и ловко работал прикладом – хорошо освоил эту технику… Видно было невооружённым глазом: выслуживается перед немцами.

Чердынцев посмотрел на часы – до сигнала оставалось ещё полминуты, – скосил глаза в сторону: ну как там чувствуют себя бойцы? А бойцов не было видно – ни одного, кроме Фабричного, – умело замаскировались мужики. Лейтенант ухватил руками покрепче автомат и подвёл мушку под немца, страхующего левый угол площадки, остановил ствол на оловянной пряжке, украшавшей живот этого человека.

При стрельбе «шмайссер» чуть задирал ствол вверх, Чердынцев это учитывал, поэтому и целился ниже: если мушкой поддеть разъём ног, то пули попадут в верх живота, если

подцепить пряжку ремня – угодят в грудь.

Вновь посмотрел на часы. Огонь партизаны откроют по его выстрелу, это – команда.

Он вдавился подбородком в снег, чтобы лучше видеть цель – из-под низко опущенных еловых лап немец был виден всё-таки не очень отчётливо, – и надавил пальцем на спусковой крючок. Почти в унисон со стрекотом чердынцевского автомата прозвучали выстрелы Ломоносова – лейтенант услышал их: негромкие, по-сорочьи частые, с мелким, вызывающим ломоту на зубах отзвоном.

Обе очереди попали в цель: чердынцевский немец исчез стремительно, будто бы провалился сквозь землю, ломоносовский попытался схватиться скрюченными пальцами за воздух, удержаться на ногах, но это ему не удалось, автомат повис безвольно на груди у немца, и охранник шлёпнулся затылком в жёсткий, как наждак, снег.

Фабричный снял свою цель с одного выстрела, напарник его также уложил полицая, тот укатился под ель, а вот третий полицай оказался удачлив – это был злобный подвыпивший мужик с висячими запорожскими усами, он проворно сиганул в сторону, заполз за толстый обрубок дерева и открыл огонь из винтовки.

Но стрелял он недолго – к нему бросились двое военнопленных с топорами наперевес. Долговязый полицай лишь один раз успел передёрнуть затвор своей винтовки, больше не удалось, на голову ему обрушились топоры, а следом те-

ло просекла автоматная очередь – один из военнопленных подхватил из снега автомат убитого немца и издали всадил несколько пуль в полицая. Стрелял он метко – имел навык.

Несколько секунд понадобилось для того, чтобы и остальное оружие оказалось в руках у пленных. Они сбились в кучу, выжидательно поглядывая на партизан.

Чердынцев первым подошёл к ним, с каждым поздоровался за руку, назвался.

– Возьмите нас к себе, – попросился ловкий парень в рваной телогрейке, к которой был пришит нитяной лоскут с нанесённым краской номером, это он всадил очередь в полицая, лицо его заросло густой золотистой щетиной, лоб украшала свежая ссадина.

Лейтенант глянул на номер – 1442. Парень перехватил взгляд Чердынцева, по лицу его пробежала судорога, один глаз контуженно задёргался, он подцепил ногтями нитяную тряпицу и с силой рванул.

Хоть и крепко был пришит номер – немцы, видать, того требовали, – а отлетел, как гнилой, разом обратившись в жалкую мятую тряпку, парень скомкал её и швырнул себе под ноги. Выпрямился, словно бы вновь почувствовал себя в строю.

– Старшина Иванов, – доложился он.

– Самая популярная русская фамилия, – не удержался, подметил Чердынцев, – на ней вся Россия стоит.

– Я не просто Иванов, а и по имени Иван, и по отчеству

Иванович.

– О, тёзка! – обрадовался маленький солдат, протянул старшине руку. – Я тоже Иван. – В следующий миг лицо его сделалось строгим, словно бы Ломоносов вспомнил, кто он есть на нынешний день, произнёс значительно: – Начальник разведки партизанского отряда…

Лейтенант оглядел пленных, спросил, скорее, для отвода глаз, и без того было понятно, каков будет ответ:

– Все готовы вступить в партизанский отряд?

Ответ прозвучал единым выдохом – только над облаком взвился над головами людей:

– Все!

– Построиться! – приказал Чердынцев.

Пленные поспешно выстроились в неровную линию – лицом к партизанам, спиной к месту схватки.

– Сколько нас? – спросил, ни к кому не обращаясь, Чердынцев, хотя знал, сколько пленных находилось в лесу, прошёлся по строю пальцем, считая людей, озабоченно наклонил голову. – До взвода не хватает половины… Но ничего страшного. Народ к нам постоянно прибивается, думаю, вскоре и взвод наберём. А пока командиром своим, товарищи, считайте… – Он остановился напротив Иванова. – Его вот. Всё ясно?

Пленные в ответ прокричали что-то нестройно.

– Тих-ха! – Чердынцев поднял руку. – Первым идёт дядя Коля Фабричный, как лучше всех знающий дорогу, замыкает

движение разведка. – Чердынцев говорил, будто заставой командовал: чётко, по-военному кратко и сурово… Впрочем, эти люди уже стали его подчинёнными, завтра он пошлёт их на задание, а послезавтра кого-нибудь из этих некормленых, грязных, наряжённых в истрепавшуюся одежду бойцов уже не будет в живых. – Двинулись! – буднично произнёс Чердынцев и посторонился, пропуская вперёд Фабричного.

Пленные, проваливаясь в снег по колено, сопя шумно, чертыхаясь, потопали следом за ними, по лыжным отпечаткам. Старшина Иванов, почувствовав себя командиром, иногда выбирал место, где снега было поменьше, отбегал в сторону и строго, как Чердынцев, осматривал своих подопечных, сравнивал их с партизанами, шедшими впереди, и ожесточённо скрёб щетину на щеках: бедолаги выглядели так, что партизаны могли отказаться от них. Этого старшина боялся, крякал с досадою и возвращался на своё место, покорно месил снег вместе со всеми, с надеждою вскидывал голову, ловил глазами спину партизанского командира, освободившего их, и думал: чем же он со своими братьями по беде и плену может быть полезен партизанам? Одно он знал твёрдо: за унижения свои, за плен должен будет расплатиться.

Осознание того, что это произойдёт обязательно, придавало сил.

Начальница полицейской управы провела следствие быстро, напористо, в методах не стесняла себя, она их вообще не

выбирала, признавая только одно – истязание. Когда человеку больно, он признаётся в чем угодно. Поэтому чем больше боли будет причинено, тем лучше – любой подпольщик рот откроет, зашипит пробито и начнёт выкладывать свои тайны – это закон. И Шичко, как медик, привыкший изучать не только запоры, желудочную слабость и завороты кишок, но и души людские, этого закона придерживалась строго.

Если сёстры-близняшки ещё как-то сохранились – на них после ареста Октябрины уже мало обращали внимания, то саму Октябрину уже нельзя было узнать: она представляла из себя сплошной кровоподтёк – от глаз до пяток. С расплющенными пальцами рук и сломанными рёбрами, с перебитым левым запястьем, из которого вылезла кость, с одним отрезанным ухом… Смотреть на неё было страшно.

– Ну и что вы предлагаете сделать с вашими… с вашими арестантами? – прищурив один глаз и, будто любопытная ворона, склонив голову на плечо, спросил у Шичко комендант райцентра.

– Как что? – Шичко даже покраснела, вопрос показался ей неуместным, она ни на секунду не сомневалась в справедливости своего расследования, как не сомневалась и в приговоре. – Все виноваты, всех казнить, господин гауптман. Только виселица, и других вариантов нет.

– Даже этих самых? – Комендант выразительно придавил ладонью воздух. – Маленьких-маленьких девчонок?

– Не такие уж они и маленькие, господин гауптман, я уже

вам говорила об этом. Упёртые, злобные, гнусные, способные с гранатой пойти на танк. Вы хотите, чтобы немецкие танки подрывали гранатами русские дети?

– Естественно, нет.

– Тогда рецепт один – стерилизация общества… – Яркие губы начальницы полиции растянулись в язвительной улыбке. – Таких детишек надо уничтожить. Взрослых – тем более.

Гауптман поразмышлял ещё немного, потом сложил ладони вместе и воздел глаза к потолку:

– Ну что ж… уничтожайте!

Виселица в райцентре уже стояла – после казни партизанской связной её не стали сносить, – старательно сработанная двумя немецкими солдатами из технической службы, скреплённая медными скобами – хозяйственные фрицы даже дорогой меди не пожалели, чтобы виселица жила дольше, видать, рассчитывали подвести под виселицу ещё кого-то, и не промахнулись завоеватели: виселица должна была поработать снова, одно плохо – производительность у неё невысокая. Если сдвинуть верёвки, уплотниться – максимум на ней три человека повесить можно. Да и то будут мешать друг дружке, толкаться, переплетаться пальцами и волосьями, а это не дело. Неплохо бы ещё одну виселицу возвести.

Гауптман позвонил куда-то – наверное, начальству и, вызвав к себе Шичко, встал из-за стола, торжественный, прямой, как верстовой столб, со стёклышком монокля, вдетым в глаз – раньше монокля он не носил, – и объявил ровным,

без единой простудной трещинки голосом:

– Можете строить вторую виселицу.

Шичко молча щёлкнула каблуками меховых сапожков – получилось очень лихо, наклонила голову, прощаясь, и покинула кабинет.

Вторую виселицу строили не немцы – русские, райцентровские плотники, пошедшие на службу в полицию, соблазнились сытой жизнью да возможностью безнаказанно лазить под подолы к солдаткам, других обязанностей они за собою не признавали. Но Шичко быстро поставила их на место.

Один из плотников, говорливый, со ртом, полным холодных железных зубов, работал охотно, споро, видно, не осознал до конца, на что его подрядили, второй тюкал топором с жалобным стонами, всё время ахал и хватался руками за поясницу – страшился дела, к которому его приставили; только сейчас он, похоже, осознал, во что вляпался. Как осознал и другое: служба в полиции – это не просто возможность обеспечить себя харчишками, это предательство. Но предателем он не был и не считал себя предателем, но, как говорят в школе, два пишем, один в уме – он стал предателем.

К плотникам дважды приходила начальница, строгим оком осматривала сделанное и недовольно качала головой. В последний свой приход заявила:

– Плохо работаете! Никакого старания не вижу. Если будете работать так дальше, прикажу всыпать вам плетей. Понятно?

Передвинула кобуру с пистолетом на живот, сделала это на немецкий лад, выпрямилась, разом делаясь выше и значительнее, и, поскрипывая снегом, поигрывая сапожками занятно, ушла.

Второй плотник проводил её недобрым взглядом и сплюнул себе под ноги:

– Вот курва!

– Не обращай внимания, – попробовал успокоить его первый плотник, потюкал легонько топором и, видя, что слова его никак не подействовали на напарника, добавил лениво: – Плетью обуха не перешибёшь, сила на её стороне.

Погода стояла тихая, даже ветры, которые в этих краях никаких правил не признавали, и те угомонились, позабыли про свой гонор – почуяли беду. Воробьи, живущие в райцентровских деревьях да под крышами домов, не то чтобы перестали галдеть – перестали даже летать. И люди на улицу не выходили – пустынным было окружающее пространство.

Лишь дымы вставали над печными трубами, поднимались высоко и растворялись вверху, там, где ползали беспорядочно, нагромождаясь друг на друга, облака.

Обошлось без плетей: два полицая-плотника сгородили-таки виселицу. Конечно, она здорово уступала виселице существующей – и медных скоб немецких на ней не было, и деревянные сочленения были сработаны не так старательно, но всё равно виселица получилась. Когда Шичко пришла осмотреть ей, первый плотник, игриво постреливая глазами

– начальница полиции нравилась ему, ладная была баба, – хлопнул ладонью по столбу, укреплённому двумя подпорками:

– Принимайте работу, ваше высокородие! Можно повесить кого угодно, хоть корову, – изделие получилось прочное.

Шичко стукнула носком сапожка по подпорке и осталась довольна.

– Ладно. Плети отменяются. – И, видать, вспомнила своего незабвенного старлея, хахаля и командира, добавила: – Можете взять с полки пирожок.

Полицаи-плотники недоумённо переглянулись: какой пирожок имеет в виду начальница? Где пирожок? И с чем он? Первый плотник пирожки любил, особенно с повидлом, горячие, он даже облизнулся… Но пирожка не было.

А Шичко тем временем небрежно махнула работягам перчаткой и ушла. Полицаи присели около виселицы на корточки, достали из кармана по дешёвой немецкой сигаретке и с наслаждением втянули в себя едкий табачный дым.

– Всё-таки надо отдать должное немчуре – они всё умеют делать лучше нас. В том числе и это. – Первый плотник приподнял руку с аккуратной, как детский мизинец, сигареткой, с шумом всосал в себя воздух, смешанный с дымом, прополоскал им рот и с наслаждением выдохнул.

От сигаретки после такой мощной затяжки осталась лишь треть. Он глянул на окурок и произнёс с сожалением:

– Горит только дюже быстро. Как порох. Вот тут немчура малость не рассчитала…

– А может, наоборот, специально это сделала? – угрюмо пробормотал его напарник.

– Для чего? – Брови на лице первого плотника поднялись недоумённым домиком.

– Чтобы клиенты почаще в магазин за сигаретами бегали… больше проданных сигарет – жирнее карман, больше выручки, толще кошелёк.

– Не, немчура на такую хитрость не пойдёт, это только наши жулики могут… У наших нет ничего святого.

– Ты думаешь, что у немцев есть что-нибудь святое?

– Ну-у… – Первый полицай замялся – не знал, что сказать и вообще что привести в пример, покрутил догоревшей сигареткой в воздухе.

– Пхе! – презрительно произнёс второй полицай. – Нет слов – душат слёзы.

– Кого душат, а кого и нет.

– Это что же выходит – на нашей виселице будут душить каких-то несчастных школярок? – Второй полицай докурил сигаретку, сунул её себе под каблук, придавил и горестно покрутил головой. – Эхе-хе-хе. Никогда не думал, что буду принимать участие в убийстве детей.

– Наше дело – сторона: убивать будем не мы, убивать будут другие.

– Да, наше дело – не рожать, сунул, вынул да бежать. Но

нас во всех грехах обязательно обвинят, вот увидишь, вместе со всеми под одну раздачу попадём.

Первый полицай дёрнулся, будто от укола, крякнул и достал из кармана ещё одну сигаретку.

– Ну и зануда же ты, до самой печёнки способен дырку просверлить.

– Извиняй! Но лучше задуматься и быть готовым к тому, что в нас будут кидать гнилые яблоки с тухлыми яйцами, чем ничего не думать и не быть готовым ни к гнилым яблокам, ни к тухлым яйцам.

Вели полицаи разговор, и вроде бы беспокойным он был, а главного они не касались, поскольку оба знали – за верную службу оккупационным властям, за то, что сколотили эту виселицу, в них не гнилью будут кидать – кидать будут другим, счёт выставят жёсткий, и оплатить его придётся сполна.

Чердынцев благополучно довёл свой небольшой отряд до базы, расселил новеньких по землянкам, велел пригреть их, помочь, не то ведь с непривычки они будут маяться, постесняются даже спросить, где находится нужник. Рукой отодвинул в сторону Мерзлякова, сунувшегося было к нему с докладом – чуть позже, Андрей Гаврилович, – и рванул к своей землянке: как там жена?

Наденька чувствовала себя неважно. Чердынцев присел перед топчаном, где лежала Наденька, взял её руки в свои. Поцеловал пальцы.

– Что случилось, Надюш?

Она виновато улыбнулась в ответ.

– Мелочи, не обращай внимания.

Голос у Наденьки был слабым. Чердынцев занервничал.

– Ну как не обращать внимание, как не обращать внимание?.. Тебя тут хоть кормили, пока меня не было? – воскликнул он, понимая, насколько нелеп этот вопрос, но не задать его он не мог.

Наденька вновь улыбнулась.

– Смеёшься? Меня просто закормили, Жень! – Она сделала сытое, довольное жизнью лицо, будто девчонка с праздничной открытки.

– Закормили? При скудном-то партизанском рационе? Не верю.

– Увы, Жень, это так.

Лейтенант вновь поцеловал её пальцы.

Господи, как же всё здорово в жизни придумано! Мужчина и женщина встречаются, происходит это по велению природы и имеет высокий смысл – поддерживают один другого, вместе отмеривают вёрсты, которые им надлежит пройти, вместе строят дом, вместе воспитывают детей, стараясь с кровью своей перелить, передать им всё лучшее, что получили когда-то сами от собственных родителей, и если очень любят друг друга, то и умирают вместе. Чердынцев собрал пальцы Наденьки в горсть, пощекотал ими себе губы, потом приложился к ним лбом, подумал в который раз, что, будь его воля, он никогда бы с Наденькой не разлучался и вместе

с нею, в один день, в один час, в одну минуту, ушёл бы в мир иной…

Но человек предполагает, а Бог располагает. Как получится у них с Наденькой, как распорядится судьба их жизнями, никто не знает.

Он подумал о ребёнке, ощутил сладкое тепло, натёкшее в виски, от которого ему сделалось хорошо, покойно, так хорошо не должно быть человеку на войне, но ему было хорошо.

– Как маленький? – тихим шёпотом, едва шевеля губами, спросил он.

– По-моему, ему неплохо, – таким же, едва приметным шёпотом ответила Наденька. – Не хулиганит, не дёргается, ногами не бьёт, не ругается – значит, всё в порядке.

– Но сейчас ему рано дёргаться и бить ногами, он ещё слишком маленький. Вот подрастёт, тогда почувствуешь, какой он.

Наденька, беззвучно дохнув теплом на Чердынцева, рассмеялась.

– Много ты знаешь!

В следующий миг она затихла, и он затих – усталость взяла своё. А может, и не усталость, может, думы разные наползли в голову, наполнили Чердынцева тревогой… Что с ним будет, с ним и Наденькой, кто скажет?

– Надя, тебе надо эвакуироваться на Большую землю, – сказал он, – у тебя ребенок… Наше с тобою будущее… –

В следующий миг он понял, что произносит какие-то безликие, затёртые слова, протестующе дёрнул головой, а ведь где-то он услышал их, где-то подцепил, и они запали в голову…

– Ещё рано. Пару месяцев я могу побыть с тобой, может быть, даже ещё больше, а потом да, потом надо будет уезжать…

Чердынцев задержал в себе вздох – очень хотелось бы, чтобы с женой всё было в порядке, как хотелось бы, чтобы она как можно дольше пробыла с ним, потом протестующе шевельнулся и проговорил упрямо:

– Всё равно тебе надо эвакуироваться.

В ответ – тишина. Наденька решила промолчать: у неё была своя правота, у Чердынцева своя, и обе правоты надо было совместить.

Райцентр затих, он буквально съёжился, как некое живое существо в предчувствии страшных событий, люди по-прежнему почти не выходили из домов, если выходили, то с бледными, осунувшимися лицами и опущенными глазами, они боялись смотреть друг на друга, будто были в чём-то виноваты, и говорить что-либо боялись, встретившись где-нибудь случайно, разбегались молча, испуганно, отводя глаза в сторону либо вовсе не поднимая их. Все знали, что молодая учительница Пантелеева находится в руках у Аськи-полицейской, а с преподавательницей – трое учеников, две девчонки и один парнишка; раньше было пятеро, но двоих Аська отпустила. Все местные, с малых лет райцентровскому

люду знакомые, росли на виду… Страшные две виселицы приготовлены для этой четвёрки, учительницы и её учеников, вот ведь как…

Затих райцентр, поугрюмел. И природа в местах здешних, кажется, изменилась – ветер стал дуть сильнее, молодые ёлки из снега выворачивает прямо с корнями, скрежещет, словно старый дед вставными челюстями, воет, вгоняет народ в нервную оторопь…

А Шичко тем временем спорила с комендантом.

– Великая немецкая армия не можно бороться с детьми, – в очередной раз упёрся комендант, словно бык, воткнувший в землю рога.

– Это не дети! – возражала ему в крайнем волнении Шичко, у неё голос иногда даже сдавал, в нём, будто в дисковой пиле, отлетали зубья, начальница полиции взвизгивала, делала на коменданта охотничью стойку и перечёркивала рукой пространство. – Это полновесные враги рейха! Они могут навредить гораздо более взрослых. Это очень опасные существа. Вы недооцениваете их, господин гауптман.

В конце концов коменданту надоело спорить с дамой, он приподнял одну мохнатую бровь, под которой тускло поблёскивало стёклышко монокля, стекло выпало из-под брови, и комендант, словно бы разом обессилев, вяло махнул рукой.

– Ладно, делайте что хотите! – сказал он.

Ближе к вечеру Шичко в сопровождении полицейских на

двух санях отправилась на железнодорожную станцию – отвезла на поезд дорогого папаню, выхлопотала для него специальный литер, дающий право садиться на немецкие поезда, с этим литером дорогой родитель и отбыл на балтийские просторы, поближе к пенистому серому морю.

Дочка, проводив отца, отряхнула ладони – с глаз долой, из сердца вон, дорогой папаня ей изрядно надоел – и скомандовала своим подопечным:

– Гоним домой!

На следующий день состоялась казнь. С самого утра, едва тёмный ночной морок над крышами райцентра начал редеть, в нём появились жидкие серые проталины, по домам пошли полицаи, они стучали прикладами винтовок в двери и выкрикивали зычно:

– Выходи, народ, на главную площадь – представление будет!

– Какое представление? – задушенными, испуганными голосами спрашивали люди и невольно ёжились, словно бы хотели вжаться в землю, они знали, что за страшное представление ждёт их.

– Придёте на площадь – увидите! Местный театр готовит вам хороший спектакль. – В голосах полицаев звучала наигранная бодрость, и сами они держались бодро, а вот глаза… Испуганные, мечущиеся глаза выдавали их – полицаи сами страшились того, что должно было произойти, давились бодрыми выкриками: – Все на площадь!

Они боялись Шичко.

А Шичко сейчас была занята одним делом – слишком уж чёрным, избитым выглядело после пыток лицо учительницы, с таким лицом её нельзя было выводить на площадь, и начальница полиции ломала себе голову, не знала, как быть. Забелить всё извёсткой – слишком грубо получится; краской – краску такую не сразу подберёшь, да потом краски телесного цвета ни в России, ни в Германии не выпускают, её надо составлять из многих других красок; мелом – и мелом не получится… Оставалось одно – убрать подбитые черноты и синяки пудрой.

Шичко не выдержала, зачертыхалась: это сколько же пудры придётся потратить на одну только преступную бабскую рожу? Но делать было нечего. Шичко достала из стола картонную коробочку с пудрой. Довоенное производство, московская фабрика «ТэЖэ». Начальнице полиции эта пудра нравилась – была мягкая, не вызывала раздражения… Конечно, пудра, привезённая из рейха, лучше, запах имеет райский, нежности она необыкновенной, но пудра «ТэЖэ» тоже на дороге не валяется, её тоже жалко тратить…

Тем более на кого тратить – на врагов Великой Германии… Шичко стиснула пальцы в кулак, жёстко хрястнула по столу – коробочка с пудрой даже подпрыгнула. Хорошо, драгоценный порошок не рассыпался, не лёг млечным путём на зелёное сукно, обтягивавшее стол. Шичко накрыла пудру ладонью и позвонила в колокольчик, вызывая к себе помощ-

ницу Эльзу. Та вошла в кабинет неслышно – сутулая, в круглых железных очках, неудобно оседлавших горбатый вороний нос, немногословная.

Начальница полиции ногтём подбила к ней коробочку с пудрой.

– Сходи в камеру, где сидит эта самая… – Шичко покрутила пальцами в воздухе, будто болт какой завинтила в пространство. – Ну эта… которую мы должны казнить первой…

– Э, поняла, – неторопливо произнесла Эльза.

Шичко вторым ударом ногтя подбила коробочку ещё ближе к помощнице.

– Наштукатурь её, убери синяки, чтобы рожа выглядела прилично… Да пудру не транжирь особо, береги! Понятно?

– Всё понятно, – прежним неторопливым, лишённым всякого выражения тоном проговорила Эльза. Подхватила коробку и исчезла из кабинета, словно бы её и не было.

В дверь заглянул Федько. Широкая, с тёмными, будто нарисованными углём бровками физиономия его была озабочена. Шичко нервно вскинула голову:

– Ну что там ещё?

Федько выпятил нижнюю влажную губу.

– Да ничего, Ассия Робертовна, всё в нормальке.

– Тогда чего пришёл? Народ, что ли, собираться не хочет?

– Собирается понемногу, а куда ж он денется? Сгоняем, как и было велено.

– Так чего тебе надо?

Федько выпятил нижнюю губу ещё больше, весь вид его выразил недоумение, он часто похлопал глазами, будто подцепил ресницами соринку, и отрицательно мотнул головой:

– Ничего… Ничего не надо!

Такие пустые ответы, как и пустые разговоры, беседы вообще, очень раздражали начальницу полиции, она уже открыла рот, чтобы врезать Федько как следует, по первое число, словом, но Федько уже не было, и Шичко ограничилась тем, что раздражённо дёрнула головой и, словно бы устав от стояния, опустилась в кресло, поёрзала в нём, устраиваясь поудобнее.

Конечно, дятел этот приходил с одной целью – отговорить её от казни. Тоже, заступник нашёлся. Шичко с негодующим шумом втянула в себя воздух, ноздри у неё сделались широкими, будто у африканской женщины, которую начальница полиции живьём не видела, на книжных картинках полюбовалась вдоволь, и этот туда же! Мало ей одного коменданта, теперь в радетели затесался старший полицай… Фу!

Эльза вернулась через двадцать минут, доложила бесстрастно:

– Заключённая к казни приготовлена.

– Морда у неё очень страшная?

– Вполне подходящая.

– Народ на площади не испугается?

– Не должен.

– Молодец! – похвалила Шичко свою помощницу. – Толь-

ко Пантелеева не заключённая, а, как заявил мне комендант, арестованная.

– Что в лоб, что по лбу, Ассия Робертовна.

– Ладно, иди, знаток современного словоблудия! – Шичко приблизилась к зеркалу, оглядела себя – хорошо ли она смотрится?

Смотрелась она неплохо, только коменданту почему-то никак не понравится, совсем не обращает на неё внимания господин гауптман. Шичко недовольно подёргала ртом – комендант не только на неё, он вообще ни на кого не обращает внимания, ни на одну женщину в Росстани. Это наводит на определённые мысли. А понравиться гауптману начальнице полиции очень хотелось, тогда многие вопросы можно было бы решать в одно касание, без споров и разногласий.

Она достала из стола губную помаду, подкрасила себе губы, крепко сжала, словно бы хотела проверить, склеятся они или нет. Посмотрела на часы. Времени было ещё мало, а с другой стороны, чего тянуть-то? Пора. Раньше начнёшь – раньше закончишь. Или как там говорили бывалые уголовники из воркутинских лагерей: раньше сядешь – раньше выйдешь. Да, это так. Она натянула на себя шинель, плотно подпоясалась широким чёрным ремнём с висевшей на нём кобурой пистолета… Снова подошла к зеркалу, вытянулась. Сама себе понравилась – стройная, гибкая, как горянка, в хорошо подогнанной форме, в кепи с длинным козырьком, которое обычно мало кому идёт, а ей идёт. Казалось бы, фу-

ражка эта германская должна была сделать её мужиковатой, грубой, а она, наоборот, сделала её лицо женственным, тонким, подчеркнула то, что ни платок, ни берет, ни шаль с кистями не подчёркивают… Шичко поправила на кепи оловянную «птичку» – орла, зажавшего в когтистых лапах лавровый венок с впаянной в него свастикой, стряхнула с форменного воротника невидимую пылинку и вышла в коридор.

Там уже в готовности толпился, погромыхивая сапогами по полу, наряд – собрались полицаи, которые должны будут вести к виселице несчастных узников, по два человека на каждого приговорённого. Шичко оглядела полицаев – по глазам ведь можно легко угадать, что в душе держит человек и как поведёт себя в ближайшие минуты. У всех полицаев физиономии были бодрые, красные, словно наждаком натёртые, ко всему готовые, а у одного лик – тусклый, взгляд безжизненный, и старался человек этот всё больше в землю смотреть, но никак не на начальницу…

Шичко это дело засекла, остановилась перед полицаем и, закинув руки назад, сцепила пальцы в один кулак, качнулась начальственно на ногах, словно лектор, пришедший в захудалый сельский клуб, с пятки на носок и обратно.

– Ну и чего ты, Легачёв, так поганенько выглядишь? Жалость, что ли, заела? А?

Тот не стал ничего отрицать, опустил глаза ещё ниже.

– Жалость, ваше благородие… – Начальницу он называл, как офицершу времён Гражданской войны, «благородием».

– Дурак ты, Легачёв. Я, конечно, могу заменить тебя другим человеком, но тогда ты как был бабой, так бабой и останешься. – Шичко вновь презрительно качнулась на каблуках своих роскошных сапожков.

Полицаи, стоявшие рядом с Легачёвым, захохотали. Шичко не обратила на смех никакого внимания, словно бы и не слышала его.

– Но я тебя менять не буду, останешься в конвое, который поведёт арестованных, понял?

Легачёв переступил с ноги ни ногу и согласно кивнул, кивок был робким, неуверенным. Шичко осталась недовольна его поведением и, бросив через плечо: «Пришлите ко мне Федько», – вернулась в кабинет.

Федько, успевший познать нрав начальницы – ожидать та не любила, приказы повторять тоже, – нарисовался незамедлительно и вошёл в кабинет буквально следом за нею. Начальница полицейской управы с недовольным видом стянула с одной руки перчатку.

– Ты вот что, Федько, – проговорила она нервно, – присмотри-ка за Легачёвым, чего-то он мне не нравится. Ежели что будет не так, живо ему голову под микитки и – в управу. Там разберёмся.

– А ежели он пойдёт на какую-нибудь крайность?

– Такого быть не должно, но, если он всё-таки пойдёт, сорвётся с катушек, можешь застрелить его. Понял, Федько?

Федько заморгал недоумённо, потом сомкнул вместе два

пальца, приставил их к виску и чикнул губами:

– Так?

– Не прикидывайся дураком, Федько! Я-то тебя хорошо знаю… Но имей в виду – сделать это желательно без свидетелей. Отволоки его куда-нибудь за сараи… Понял?

– Ежели, конечно, удастся, Ассия Робертовна.

– Никакие «ежели» не принимаются, Федько. Всё! – Шичко шагнула к двери, открыла её, выпуская старшего полицая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.